

Советская и эмигрантская художественная литература на страницах софийской эмигрантской прессы (1924–1943 гг.)

1. Введение: На вызовы 1917-го русская эмиграция ответила эмигрантской литературой

В ходе подготовки настоящей работы мы пришли к мысли, явно не оригинальной, что историю эмиграции следует строить с учетом, прежде всего, иных временных ориентиров, чем «Октябрьская революция», «Октябрьский переворот» или даже «1917 год». Названные ориентиры организуют мысль «советоцентрично»; иными словами, подталкивают писать историю с точки зрения «победителей». Эмиграция строит свое самосознание с оглядкой на другие даты (в т.ч. иного характера: на почти оторвавшиеся от линейного исторического времени и обретшие бытие почти только циклическое), а «о/Октябрь» входит в круг воспоминаемого поздно (в 1930 г., в форме «Дня непримиримости»). Если все-таки ориентироваться на 1917 год, сохраняя (потенциально) эмигрантоцентричное видение, то необходимо вспомнить Февральскую революцию (как давшую начало практическим играм интеллигенции в политику *при отсутствии единой верховной* центральной власти¹, причем эти условия были продлены именно в эмиграции) и основание Добровольческой армии 2/11 ноября (как реакцию на «самоход», в т.ч. на его радикализацию 25 октября/7 ноября). Неимение эмиграцией суверенитета над территориями проживания (ср., в порядке контраста, случай Тайваня) приводит к перестройке отношений между полями политики, культуры и экономики. В частности, к упрочнению симбиоза между полями культуры и политики, существовавшего в период

¹ Мы ориентируемся на описание событий, данное в: История России: XX век: 1894–1939, под ред. Андрея Зубова, Москва: АСТ; Астрель, 2010, 370–468, – обращая внимание на юридическую сомнительность (и даже несостоятельность) действий, приведших к упразднению монархии, и интеллигентскую логику поведения / высказываний ключевых действующих лиц Февральской революции и периода Временного правительства (кн. Георгия Львова, Павла Милокова, Ираклия Церетели, Александра Керенского) (там же, 382–6; 395–6, 398, 403, 404, 415). В их образе мышления и действия узнаем черты критического портрета интеллигенции, нарисованного в сборнике «Вехи».

империи,² при общем росте удельного веса культурного поля и культурных «практик» в жизни общества. Судя по тому, что главным праздником эмиграции становится праздник, в рамках которого она определяет себя как общность культурную (а не, напр., политическую) и как общность (по)читателей и поминающих *поэта*, можно считать, что основным символическим ресурсом *с точки зрения более или менее всех* культурных, политических и экономических деятелей становится литература.³ Точнее, не-литературоцентрический взгляд на жизнь общества (или: имперско-национальной общности), а тем более не-культуроцентрический, уходит в оппозицию⁴. Перефразируя известную мысль Мережковского, можно сказать, что на вызов(ы) 1917-го (...Керенского, Ленина, ген. Алексеева...) эмиграция ответила эмигрантской литературой⁵. Верится, что те, кто устоял перед соблазном вернуться, обрел себе возможность освободиться от близкого к социальной патологии самовозведения в искупительные жертвы, от соблазна мученичества⁶, и что в *культурном* творчестве части эмигрантской «молодежи» мартирологическая парадигма подверглась де-эгоизации⁷.

² Я имею в виду использование культурных продуктов и практик (прежде всего, литературы) в оппозиционных политических целях, при невозможности формирования легитимной политической оппозиции: точка зрения, проступающая у Павла Милюкова (История русской культуры. Часть 2. Церковь и школа (вера, творчество, образование), С.-Петербург: Тип. Скороходова, 1897, 181, 183, 186–7, 363–4); с учетом иной вторичной литературы и источников, недавно развернутая Грегори/Григорием Фрейдиным, а потом Михаилом Бергом.

³ Проиграв длившуюся несколько лет политическую войну, часть образованного общества, во время или на исходе этой войны выбравшая эмиграцию, выиграла войну «долгоиграющую» – за символический капитал Церкви и самодержавия. Процесс становления современного института литературы в России XIX века рассматривается Фрейдиным как процесс присвоения интеллигенцией и, конкретно, литературой символического капитала священного и, конкретнее, атрибутов символического порядка, установленного православной церковью и самодержавием (Freidin, Gregory. *By the Walls of Church and State: Literature's Authority in Russia's Modern Tradition* // *Russian Review*, 52 (1993), 2, 149–165; см. 155 и сл.).

⁴ Будучи представлен теми кругами, которые выдвигали или были склонны выдвинуть 1) альтернативную дату для Дня русской культуры (день Св. Князя Владимира-Крестителя, а не поэта Пушкина) и 2) альтернативный центральный символ чествования (не русскую культуру, а династию Романовых: младоросская партия). Эти вопросы исследуются нами в работе об эмигрантских праздниках (в процессе разработки).

⁵ И литературским творчеством, в т.ч. литературоведением. Ср.: «За невозможностью делать политику эмиграция склонна делать мировоззрение. Выше мы уже говорили об этом по поводу „Нов. Града“, причем высказывали сомнение в целесообразности публичных „поисков мировоззрения“. [...]» ([Senex]. «В поисках мировоззрения: „Утверждения“ (№ 3)» // *Голос*, № 409, 4 сент. 1932, 2).

⁶ Об этом поведенческом комплексе: Freidin, “By the Walls”, 159 и сл. – Косвенное основание верить в факт такого освобождения, в т.ч. от противного, дает нам содержание младоросской газетной пропаганды (два образца процитированы ниже в работе); содержание газеты «На родину» (София, 1922), открыто агитирующей за возвращение (Люцканов, Йордан. «На родину» // *Периодика на руската емиграция в България (1920 – 1943): Энциклопедичен справочник*. Отг. ред. Радостин Русев; съст., авт. и ред. Р. Русев, Христо Манолакев, Й. Люцканов, Радослава Илчева, Галина Петкова. София: ИЦ Боян Пенев, 2012, 468–

В настоящей работе будет предложен критерий «стратификации» литературы, производимой в 1920-е – начало 1940-х по обе стороны советской границы, как «эмигрантской» или, наоборот, «советской». Будут указаны самые важные, на наш взгляд, процессы и явления в литературной культуре⁸ русской эмиграции в Болгарии: важные с точки зрения того, свидетельствуют ли они о формировании на территории эмигрантской «провинции»⁹, или культурного «прихода»¹⁰, «Болгария» эмигрантской литературы. Мы поделимся своими предварительными наблюдениями над самым показательным, исходя из нашей нынешней степени ознакомленности с материалом, таким процессом: процессом сотворения софийского (не-)Зощенко.

Побочной целью будет ввести в обращение материал, систематически пренебрегаемый / системно-пренебрегнутый огромным большинством ученых, исследующих русскую эмиграцию,¹¹ но не в мертво-оцифрованном виде.

471); и, конечно, рассуждения Фрейдина, в т.ч. приведенный им замечательный пример высказывания историка литературы Петра Когана.

⁷ Мартиролог признавался нужным и даже строился посильно средствами литературы, но к себе самим субъекты литературного письма имели более скромные чаяния, хотя и не менее строгие требования: пели (или хотели петь) не себя, а тех, кто в самом деле по долгу службы или же по социально-политическим условиям становился подвижником. Это видно прежде всего в (около)литературной продукции газеты Национального союза молодого поколения (впоследствии Национально-трудового союза) «За Россию». Рассмотрение данного развития в задачи настоящей работы не входит.

⁸ Понимаю «литературную культуру» как систему навыков, технологий и традиций создания и понимания литературы.

⁹ Заимствую ментально-словесную конструкцию «эмигрантская провинция X» (в данном случае, «Болгария») у Галины Петковой (см. настоящий номер *Toronto Slavic Quarterly*, ниже), предлагающей как бы расширительное толкование словоупотребления Петра Бицилли 1930-х гг.

¹⁰ Формирую словосочетание «культурный приход» по аналогии с приходом церковным. Считаю этот потенциальный термин более уместным, нежели «центр» (т.к. «центр» предполагает точку, а не территорию; а «центр рассеяния», предполагая некоторую территориальность, обременено пагетизмом) и «провинция» (т.к. связанная с Римским государством, а тем более с территориальной организацией Католической церкви, «память» понятия предполагает степень сверхтерриториальной централизованности, в случае русской эмиграции не имевшей места). Жизнь *культурного* прихода организуется около культа *поэта* (Пушкина) и, менее унифицированным (корпоративно-дифференцированным) образом, около коммеморации событий истории значимых «общин в общине», единой в разнообразии индивидуального *и коллективного* опытов (основания Добровольческой армии, «Галлиполийского сидения», полковых праздников). Эту жизнь, однако, вполне можно описать в рамках, предложенных для «эмигрантского центра» в работе: Петкова, Галина. «Культурная картография русской эмиграции первой волны (1919–1940): концепт „эмигрантский центр“» // *Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Панайот Карагъзов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 463–471, – как создания и функционирования аффективной структуры, способной поддержать индивида в его пути от кладбища через типографию до детского садика.*

¹¹ По причине того, что можно назвать парижско-московским комплексом данного исследовательского поля. Этот комплекс обусловлен, думается, тремя обстоятельствами: 1) культурного первенства (абсолютного или «среди равных» – это отдельный вопрос) эмигрантской колонии, проживавшей в Париже, 2) действенности в российском научном сообществе русского культурного комплекса более общего характера, а именно двуединства комплексов малоценности и имперского (в рамках этого двуединства *значимыми другими*,

2. Литератур две

Вопрос о том, где и как пролегает, или прочерчивается, граница между эмигрантской и советской литературой на страницах эмигрантских газет, отсылает к двум другим вопросам. Точнее, является местом их пересечения. Первый: различать ли или нет две русские литературы и исходя из чего? Второй: насколько литературная или, шире, эстетическая, культура овладевает культурой производства газеты и насколько литература остается лишь «гостьей» в рамках газетных страниц?

С точки зрения моих источников, т.е. эмигрантских газет Софии, литератур – две. Свидетельства такового видения – на двух уровнях газетного дискурса: на уровне вербального размежевания в рецензиях и литературоведческих статьях¹²; и на уровне пара- или супервербальной компоновки, композиции газетного номера или страницы: произведениям эмигрантской литературы отводится одна функция и одно место в рамках страницы или номера, произведениям советской – другое.¹³

Наблюдается, однако, процесс якобы конвергенции: за отдельными произведениями советской литературы закрепляются функции (и позиции) эмигрантских, за отдельными произведениями эмигрантской – функции (и позиции) советских.¹⁴ Некоторые из эмигрантских писателей как бы учатся советскому письму (Михаил Карпов¹⁵, Валентин Горянский¹⁶, «Полишинель»¹⁷), а произведения некоторых из советских писателей подвергаются невидимому, внутриязыковому (в рамках русского языка) переводу на

среди «туземных» культур, принявших заметное число эмигрантов, оказываются лишь французская и американская, с большими оговорками – немецкая и итальянская), 3) ориентацией большинства нероссийских исследователей на вкусы российских (в сочетании с воздействием культурных комплексов соответствующих национальных общностей). (В понятие «комплекс» оценочности не вкладываю.)

¹² Некоторые из этих работ процитирую ниже.

¹³ Примеры: см. ниже. (Важный момент – история рубрики «Советский быт»).

¹⁴ Но я не отнес бы эти явления (тексты, сверхтекстовые единства) к разряду тех, которые Флейшман называет пограничными – возможность отъезда в эмиграцию и факт отказа от эмиграции (Флейшман, Лазарь. Несколько замечаний к проблеме литературы русской эмиграции // Одна или две..., 63–76; 64).

¹⁵ Зощенко в Софии (Новогодний фельетон) // Голос, № 425, 1 янв. 1933, 3; и др.

¹⁶ Советский быт: Незаконный брак (Почти как у Зоценки) // Русь, № 1319, 3 сент. 1927, 3.

¹⁷ Советский быт: Эволюция революции // Русь, № 1089, 25 нояб. 1926, 3. – К мысли о том, что авторство данного монтажа фрагментов за эмигрантом, склоняет прежде всего заглавие, очевидно полемическое к публикациям в лево-либеральной эмигрантской прессе Парижа. Ее лидер Павел Милюков неоднократно выступает объектом, а порой и *персонажем* публикаций в «Руси», см., напр.: Ю. Ю. Монолог Милюкова // Русь, № 737, 17 сент. 1925, 2, рубр. «Маленький фельетон».

«язык» эмигрантский (Михаил Пришвин; Пантелеймон Романов¹⁸, Михаил Зощенко)¹⁹.

Иными словами: отношение взаимной дополнительности между двумя литературами иногда сходит на нет, т.е. они в самом деле становятся двумя литературами. Я бы сравнил эту ситуацию с ситуацией диглоссии, иногда переходящей в двуязычие. Вопрос в том, образуют ли моменты «двуязычия», т.е. *обособления* двух литератур, некую протяженность и тенденцию.²⁰

Перед тем как обратиться к источникам 1920-х–1930-х гг., припомним некоторые моменты дискуссии 1978 г., запечатленной в сборнике «Одна или две русских литературы?».

По Ефиму Эткинду, «литература принадлежит нации, а не тому или другому режиму»²¹. Даже если принять рациональное зерно этого общего суждения (а именно, что литературы бывают только национальными) за достоверное, как отнестись к предполагаемому факту появления / создания в СССР новой нации, советской? Вопрос о существовании особой советской *нации* спорен. С одной стороны, в 2001 г. Джошуа Сэнборн пишет, что «наиболее выдающиеся» англо-американские исследователи нации «утверждают, что никогда не было опыта создания „советской нации“», следует ссылка на

¹⁸ «Почему у книги, в которой говорится о забрызганных человеческими мозгами стенах чека, о детях видевших расстрелы своих родных и закапывание в землю живых людей, почему у этой книги, такое нежное, благоухающее название – „Черемуха“? [...] Постепенно перестаешь удивляться [...]. Ведь, в советской России, по выражению П. Романова, все „без черемухи“ [...]» (Л. Ф. «М. Арцыбашев. Записки писателя. Т. II: „Черемуха“» // Русь, № 1270, 6 июля 1927, 2). В данном случае обсуждение эмигрантской книги стимулирует публикацию советского произведения. Рассказ «Без черемухи» Романова опубликован в № 1275–1277. У Романова черемуха – знак человеческой нежности, неживотного и немашинного отношения к молодому человеку другого пола.

¹⁹ В самом деле подход дифференцированный. Художественному миру Пришвина *приписывается* статус (нормальности, центральности, вершины в некоей пирамиде дискурсов, выражающих подлинное человеческое бытие; вместо, полагаю, статуса маргинальности, по причине ухода от реалий актуальной социальной жизни, которые они имели в литературе советской). Статус мира Зощенко – карнавальности, изнаночности – *сохраняется*, но ему приписываются определенные интенции либо смысловой эффект: из предположительно амбивалентного, т.е. ни утверждающего, ни отрицающего советскую систему, он становится противосоветским. (См. ниже, различие Г. Андреевым двух типов сатиры: системной и антисистемной).

²⁰ Начало, кажется, положено в № 27 газеты «Неделя» (иллюстрированное приложение «Руси»), от 30 ноября 1924 г.: почти рядом помещены фельетон Аверченко «Живые портреты (Красные матросы)» и рассказ Зощенко «Жених». Поскольку объектом изображения обоих текстов – советская действительность, можно говорить об отсутствии взаимной дополнительности; т.е. – хотя бы на первый взгляд – налицо двуязычие. С другой стороны, рассказ Аверченко – о самой ранней советской действительности. Т.е. в 1924 г. – видимое начало *диглоссийной* ситуации в литературе. Обе публикации – перепечатки, с указанием источников.

²¹ Эткинд, Е. Русская поэзия XX века как единый процесс // Одна или две русских литературы? Международный симпозиум, созданный Факультетом словесности Женевского университета и Швейцарской академией славистики, Женева, 13-14-15 апр. 1978. Lausanne: L'Age d'Homme, 1981, 9–30 (11).

работы Рональда Григори Сани, Юрия Слезкина, Роджерса Брубейкера.²² С другой, у Евгения Добренко читаем:

«После революции советская нация сформировалась вокруг Октябрьского мифа, ставшего для нее центральным легитимирующим событием. Однако со временем деформация прокламированных ею целей стали настолько очевидными [...], что чем дальше, тем больше [...] Революция становилась скорее обузой, чем основанием для „полезной истории“. Только в Победе в войне советская нация обрела наконец миф основания. Поскольку сталинская революция кардинально изменила политико-идеологические и социально-культурные вехи Октября 1917 года, он превратился из главного „учредительного события“ довоенной Советской России в центральное событие *предыстории* советской нации. Последняя, будучи продуктом сталинизма, приобретала теперь адекватную фокальную точку [...]»²³.

Рассуждения самого Сэнборна косвенно поддерживают точку зрения Добренко:

«исследователи и царской, и советской России были склонны отождествлять этническое с национальным и многоэтническое с имперским. Моя цель [...] выдвинуть мысль, что этничность, хотя она часто является ключевым фактором в актах воображения политической общности, не следует рассматривать как единственный фактор в детерминировании национальной принадлежности. Признаком принадлежности к нации является не участие в определенной общности, члены которой верят, что они связаны дальними узами крови или общим родным языком, но желание определенного типа социальной и политической когезии, основанной на принадлежности к исторической, территориализованной общности, обладающей политической суверенностью»²⁴.

²² Sanborn, Joshua. “Family, Fraternity, and Nation-Building in Russia, 1905–1925” // *A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin*, ed. by Ronald Grigor Suny and Terry Martin, New York: Oxford UP, 2001, 93–110 (106, прим. 2).

²³ Добренко, Евгений. Блокада реальности: ленинградская тема в соцреализме // Блокадные нарративы: Сборник статей, сост. Полина Барскова, Риккардо Николози, Москва: НЛЮ, 2017, 20–46 (20–21). – Не менее важным следует признать процесс рождения советского патриотизма (или переориентацию на «национал-коммунизм») – своеобразный конец некоей *лиминальной* фазы в жизни общности советских граждан: комментируя слова маршала Блюхера 1938 г., автор «Истории России» под редакцией А. Зубова пишет: «пролетарий приобрел отечество» (История России..., 1, 948).

²⁴ Sanborn, указ.соч., 93–94.

Мне кажется, что предложенная Эткингом оппозиция нация – режим, в терминах которой мыслить вопрос о числе литератур, ложна. Ложна не только потому, что постулируется невозможность иного бытия литературы, кроме национального, но и потому, что постулируется единство, единость нации, расколотой событиями 1917-го и последующих годов. Дальше в данной статье вопрос о числе литератур сменяется вопросом о релятивной значимости той и другой, чем, по-моему, почти обнажается исходный мотив автора: страх символического изъятия из фонда русской литературы (а priori – одной) части ее богатства. Он подчеркивает *невеликий* удельный вес созданного в эмиграции²⁵ и *тем самым* (в добавок к эксплицитному аргументу, покоящемуся на отождествлении нации и литературы) внушает мысль о бессмысленности говорить о двух литературах. (Стратегии *заземления* Эткингом образа русской литературы, созданной в эмиграции, соответствует и следующая деталь, брошенная им по ходу ее сопоставления с эмиграциями французской и немецкой: «известно, что только во Францию пробилось более двухсот тысяч беженцев из России; *то были главным образом военные, то есть не самые читающие слои населения*, а все же единая масса – масса носителей живого языка», 14–15, курсив мой). Стоит подчеркнуть, что адресатом его текста является прежде всего тесное сообщество тогдашних исследователей русской эмигрантской литературы (эмигрантов разных волн и западных ученых). Из этого следует, что среди его мотивов могло бы быть желание – сознательное или нет – подчеркнуть значимость той социокультурной среды, которая обусловила его собственное формирование и бытие в поле культуры, из которой он вырос и которой он жил: литературы, создававшейся в СССР вопреки советской власти; советской неофициальной или полуподпольной интеллектуальной культуры; третьей волны эмиграции в целом. Рискнем сконструировать

²⁵ «Если говорить только о поэтах [...] Говоря по крупному счету, можно ограничить старшую русскую поэзию в изгнании тремя именами: Г.Иванов, В.Ходасевич, М.Цветаева. В поэзии метрополии приведенному списку противостоят не только названные Г.Струве семь имен [...], но и следующие пятнадцать: [...]. Одно лишь это сопоставление ставит под сомнение слова Г.Струве: “...Зарубежная русская литература есть временный, отведенный в сторону поток общерусской литературы, который – придет время – вольется в общее русло этой литературы. И воды этого отдельного, текущего за рубежами России потока, пожалуй, больше будут содействовать обогащению этого общего русла, чем воды внутрироссийские.” (Глеб Струве. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, изд-во Чехова, 1956, стр. 7). Все же следует признать, что едва ли больше. Дело, впрочем, отнюдь не в соперничестве. [...] Существенно другое: поэзия развивалась внутри страны и вовне по тем же или сходным законам, решая общие эстетические задачи» (Эткинд, Русская поэзия XX века, 15–16). – Выражение «по тем же или сходным законам» вызывает удивление своей неопределенностью (не применимо ли оно к любой *группе* типологически сходных либо родственных литератур?), вопрос же о решении общих эстетических задач кажется спорным и требует подробного рассмотрения.

воображаемый монолог Эткинда, выражающий социальную прагматику его текста в данной ситуации (конца 1970-х и уже за границей): ‘Те, кто приезжаем теперь и кто вырос в СССР, на литературе поэтов, оставшихся там и даже вернувшихся, не хуже вас, приехавших сюда после 1917, и не отличаемся от вас лишь потому, что росли в СССР; а быть может даже и лучше – конечно, в той мере, в какой воспитывались на Цветаевой, а не на Гиппиус; если же вам по нутру обособлять себя, то знайте, что вклад эмигрантской литературы в общерусскую не так уж большой’ (о сопоставлении Цветаева – Гиппиус см. ниже). Стоит отметить, что «товарищ» Эткинда по социо-культурному статусу (не западный русист и не эмигрант первой волны), Герман Андреев, выговаривает иные интуиции о единстве и двойственности и ставит иные акценты, начиная свое выступление, или статью, так:

«Я должен сказать сразу, что это – не моя тема: одна или две русские литературы. Вместе с тем эта проблема, на мой взгляд, – часть общей проблемы: одна или две русские нации. Есть ли новая советская нация, есть ли русская нация? Я думаю, что многие из нас, уезжая на Запад, уезжали из СССР в Россию. Я заинтересовался этой темой не столько как литературовед, сколько как читатель. Тем более, что недавно, в 76 году, в журнале “Ost-europa” была опубликована статья славистки из Австрии, Лизы Маркштейн, где она ставит этот вопрос: одна или две русские литературы? Она отвечает категорически: нет, русская литература одна. А я всю жизнь, начиная читать какую-то книгу, знал: это – одна литература, читая другую книгу, знал: это – какая-то другая литература. Исходя из этого непосредственного чувства, я пытаюсь составить некоторую, очень условно говоря, концепцию»²⁶.

3. Критерии различения и суть различия с точки зрения 1930-х гг.

Какое значение вкладывается в понятия эмигрантской и советской литератур, каков объем этих понятий? Насколько могу судить, есть два варианта проведения границы: по географическому и по ментальному признакам. Согласно первому, советская литература – это все то, что производится на территории СССР. Согласно второму, советская

²⁶ Андреев, Герман. О сатире // Одна или две литературы, 189–197 (189).

литература – это лишь часть производимой в СССР литературы, тогда как другая часть – это литература русская под советской властью, или литература подсоветская.

След этого различия точек зрения – в отзыве Петра Бицилли (1933) на книгу Марка Слонима «Советская литература»:

«[...] Книга М. Слонима посвящена „советским“ писателям. Но неясно, на основании каких признаков автор выделяет некоторых русских писателей в эту категорию. Уже не на основании ли признака местожительства – раз сюда отнесены писатели, сформировавшиеся еще до революции, как Е. Замятин, А. Толстой? Но тогда – почему пропущен А. Белый? Если же автор не пожелал стеснять себя хронологическими рамками и производил свой выбор на основании какого-либо иного признака – как кажется, его интересует в особенности вопрос о том, как на творчество русских писателей повлияла Революция и как в их произведениях отразилась советская жизнь, то тогда непонятно, почему у него пропущены Ю. Олеша, В. Катаев и наконец, раз уж он не ограничивается писателями-художниками, а говорит и о таком чистейшем „протокалисте“, как П. Романов, – почему нет у него „портрета“ также и Сейфуллиной? В некоторых местах автор касается вопроса о том, как на творчестве „советских“ писателей необходимость считаться с условиями „социального заказа“. В таком случае следовало бы дать характеристики писателей, являющихся как раз ревностными исполнителями такого „заказа“ – Сельвинский, Гладков, Панферов. А они тоже обойдены автором».²⁷

От, предположительно, инерционного применения географического критерия (как, видимо, у Слонима) следует отличать его обдуманное применение, правда, относящееся к более позднему периоду (и неизбежно учитывающее наступившие изменения). К 1937 г. новый эмигрант Иван Солоневич пришел к такой характеристике советской литературы:

«Мы уже несколько раз говорили о том, что советская литература, – как и советская печать вообще – выполняет прежде всего задачи агитации и пропаганды. Ни один советский писатель не в состоянии дать хотя бы приблизительно верной картины жизни и настроений в СССР. Если откинуть чисто исторические работы – напр., А. Толстого, Тынянова и др., то все

²⁷ Бицилли, Петр. «М. Слоним. Советские писатели. Париж 1933» // Голос Труда, № 22 (433), 19 марта 1933, 2 (руб. «Литература и жизнь»).

остальное – в той или иной степени – должно прежде всего „художественно показывать“ победы и благодеяния коммунизма.

Если дореволюционная русская литература могла показывать и быт крестьянина, и быт революционного подполья, и сахалинскую каторгу, и либерального дворянина – то для советской литературы пути такого рода закрыты абсолютно. О [так. – Й.Л.] – страданиях народа и в тюрьмах, и в лагерях, и в колхозах – вы не найдете ни одного слова. Вы не найдете ни одного слова о нищете, о советской жизни, о борьбе молодежи, о гнете, охватывающем все стороны советской жизни. Советская литература, как и советская печать, и советское кино, есть по существу сплошная фальшивка...»²⁸.

Согласно второй как бы классификации, литература на русском языке бывает русской и советской, причем русская подразделяется на эмигрантскую и подсоветскую, а собственно советская как бы перешла и на иной язык (не то русский, не то «большевицкий» «волапюк»)²⁹. И, конечно, у собственно советской – свои установки в отношении, как мы сказали бы теперь, «поля власти», причем установки, неприемлемые с точки зрения русского литературоцентризма³⁰ XIX века³¹. В 1932 г. Валентин Соседов пишет:

«Приходится повторять старую истину, что Горький нам чужд не потому, что он „там“, а потому, что его поведение „там“ не только не соответствует нашим политическим взглядам, но и нашим понятиям (по крайней мере[,] прежним) о русском писателе.

Вспомним хотя бы такие прекрасные стихи Полонского:

Писатель, если только он / Есть нерв великого народа, / Не может быть не поражен, / Когда поражена свобода!»

²⁸ Трибуна читателя. Вып. 10 // Голос России, № 29, 5 янв. 1937, 6–7; 6. – Ответ на вопрос «г. У. из Алжира».

²⁹ Иноязычность продемонстрирована, напр., анекдотическим рассказом в рубрике «Советский быт», в котором обыгрывается непонятность советских сокращений для людей из советской провинции и непонятность полных официальных наименований учреждений – для жителей «совгорода Москва» (Грамен. Без языка // Русь, № 1458, 21 февр. 1928, 3).

³⁰ Отводящего литературе оппозиционную в рамках политического поля роль.

³¹ Ср.: «И получают такие совершенно поразительные симбиозы: сатирик Державин, он же одописец; сатирик Михалков, он же автор государственного гимна. Мне трудно представить себе Салтыкова-Щедрину в качестве автора гимна „Боже, царя храни...“. Я не сравниваю гимны, я говорю лишь о том, что для русского сатирика XIX века такой симбиоз невозможен» (Андреев, Герман. О сатире // Одна или две литературы, 189–197; цит. 193–194).

«Горький, некогда с такой энергией ратовавший за свободу и восстававший против насилия и пролития крови, теперь сам служит верою и правдою делу насилия и крови»³².

Статья В. Маслова 1936 г.³³ свидетельствует о еще более глубоких расхождениях. Архипредставитель советской литературы (а значит – и вся эта литература, в силу задаваемой модели писательского поведения), говоря языком социологии культуры Бурдье, вводит в поле литературного производства не только политическую, но и экономическую гетерономию. Даю краткий пересказ статьи. Горькой – «гнусный апологет палачей русского народа»: это, видимо, остается сквозным мотивом после 1927 г., когда он «оплакивал» Дзержинского. Горький не вписывается в траекторию других писателей, вышедших из социальных низов (Ломоносов, Никитин, Кольцов, Шевченко). Он в совершенно лишнем объеме писал о социальной и моральной «помойной яме», растлевающая молодое поколение и руша основы России. Горький удивительно меркантилен, при всем том, что получал невиданные в истории русской литературы гонорары. «Свой большой самобытный талант Горький так подло использовал в своих личных целях».³⁴

Возможность применения (и столкновения) тех же двух критериев (географического и ментального) в отношении литературы эмигрантской можно проиллюстрировать другими рассуждениями Бицилли (1932):

³² Соседов, Валентин. Юбилей Горького // Голос, № 419, 13 нояб. 1932, 3.

³³ Маслов, В. Максим Горький // Русь-2, № 83, 12 июля 1936, 1. – Как «Русь-2» будем обозначать газету, выходившую под редакцией Ивана Бутова в 1934–1936 гг., один из печатных органов русских фашистов. С праволиберальной газетой, основанной Иваном Каллиниковым в 1922 г. (и просуществовавшей до 1928 г.), она связи не имеет.

³⁴ Почти та же точка зрения – у Н. Б., писавшего тоже в 1936 г.: «[...] Не даром сказано гением, что он будет дорог потому, что „чувства *лучшие* он лирой пробуждал“. Горький как раз и задавил свое маленькое дарование тенденцией к низменному, злобному и некультурному. Изображая мир подонков и босяков, он вовсе не стремился показать, как Достоевский, что и у них звучат лучшие струны человеческой души. Он вовсе не стремился вызвать к ним сострадание, жалость, снисхождение. Наоборот, сроднившись с ними своей босяцкой осатаневшей душой, он отрицает в них всякую Божью искру, считая ее даже позором. [...] / Затем Горький принимал живое участие в деятельности устроенных большевиками школ коммунизма [...]. Ему мало было роскошной виллы на о. Капри, и когда большевики создали для него крупные заработки изданием его творений, он публично воздал хвалу „золотому сердцу палача Дзержинского“, „слезам чувствительных чекистов“ и всей работе советских опричников. Ведь в их карманах он черпал свои политические убеждения. [...]» (Русь-2, № 99, 22 ноября 1936, 3; курсив автора). – Ср.: «Куплето-подхалим Лебедев-Кумач, сменивший у подножья трона обопсевшего Демьяна, – ныне увлекся бюджетной поэзией. Это – особый вид халтуры, неизвестный буржуазным государствам», и т.д. (М. К. Обзор советской прессы // Родина, 10 авг. 1940, № 6, с. 18, глава «Бюджет и газета»).

«Художественная литература в эмиграции может быть разделена на литературу „старших“ и „младших“. Произведения первых, по мнению П. М. Бицилли, могли бы быть написаны и в России, конечно, в том случае, если бы этому не препятствовали внешние условия [...] художественная литература старших не может быть привлекаемой для характеристики литературы эмигрантской, так или иначе слагавшейся под воздействием условий, только в эмиграции возможных»³⁵.

Во всех процитированных случаях разграничение проводилось с оглядкой на русскую литературу императорского периода. Тогда как прямого сравнения между двумя современными ветвями русскоязычной литературы не проводилось.

Иногда ментальная граница проходит между автором, объявляемым соавтором, и его произведением, которому молча присваивается статус под-советского и в конце концов анти-советского (примеры – ниже).

С другой стороны, не все производимое в эмиграции считается подлинно эмигрантским или русским: «...После всех этих большевицких сутенеров – „Благонамеренных“, „Верст“ и проч. – первая книжка „Русской мысли“ производит [...] освежающее впечатление» (Г. В. // Русь, № 1190, 29 марта 1927, 2, Книжная полка). (Отметим, что отзывы о первых выпусках названных журналов – в т.ч. того же рецензента – были совершенно нейтральными и выражали скорее всего любознательное ожидание). И не все, производимое в СССР и републикуемое, републикуется с оглядкой на символическое присвоение или на его сатирический потенциал. Но единственный замеченный нами такой случай – помещение отрывков из романа Артема Веселого «Россия, кровью умытая» в «Голосе»³⁶.

³⁵ В[олошин], Г[леб]. Русская художественная литература в эмиграции [Пересказ лекции Петра Бицилли 14 окт.] // Голос, № 416 (23 окт. 1932), 2. – Ту же точку зрения выражает Зинаида Шаховская спустя много лет, перечисляя авторов, сформировавшихся до 1919 г. (да, 1919-го), частью эмигрировавших, частью оставшихся, иногда указывая, что они написали бы по-иному, найдись они по альтернативную сторону рубежа, а чего не написали бы вообще. В перечне выделяется Зощенко: «Сделаем исключение для Зощенко – дары в эмиграции не теряются, но зощенковский „Экзамен на образованность“ принял бы тут другие формы, и Синебрюхов заговорил бы на эмигрантском волапуке». «Следовательно, разделение русской литературы настанет позднее между теми литераторами, которых революция застала детьми или подростками» (Шаховская, Зинаида. Литературные поколения // Одна или две литературы, 52–62; 53).

³⁶ Под заглавием «В походе» и с вводной заметкой: «Этот роман печатается в Москве, в журнале „Нов. мир“». Конечно, автору пришлось густо смазать его советской тенденцией – иначе роман не появился бы в печати. Но некоторые сцены написаны правдиво и сильно. Приводим два таких отрывка» (Голос, № 37, 3 февр. 1929, 2).

Прямые сравнения между условиями создания литературы в эмиграции и СССР, по нашим впечатлениям, редки, и производятся по ходу изложения на другую тему:

«Многие говорят о том, что в эмиграции не нарождаются новые литературные силы, что почти нет „начинающих“ и „дерзающих“, что в этом можно усмотреть худосочность, творческую нежизненность эмиграции.

Но я позволю себе усомниться в этом весьма опрометчивом выводе: 1) эмиграция – та же жизнь, что и Родина (разница только в степени жизненности, да и то неизвестно – в чью сторону), 2) литература всегда будет там, где борется человек за свое существование, т.е. где он творит свою жизнь, 3) литературное дарование дается не свыше, как дар мгновенный и случайный, а накапливается веками, следовательно, эмиграция здесь не при чем, ведь корни дарования индивидуума покоятся в веках, 4) литература проходит эволюционно свой жизненный путь – литература народа и литература индивидуума, начиная детством. Поэтому и каждый писатель бывает сперва „начинающим“, „подающим надежды“... Вот здесь и подхожу вплотную к своей теме: ведь если журналы и газеты, т. е. вся пресса – совершенно отмежуются от начинающих, от подающих надежду, то, за неимением возможности где-либо печататься, вся „начинающая“, молодая литература отпадет (как отпадает древесная кора, лишенная соков), исчезнет с лица земли. И останутся только старые корифеи: Бунин, Сургучев, Шмелев, Борис Зайцев, Куприн, Мережковский... Да еще (нечто вроде „нэпа“, кратковременная передышка): Сирин, Газданов, Кузнецова, Ирина Кнорринг...

Ну, а дальше? Дальше ничего, кроме вопля критиков: у нас иссякла литература... [...]

Ну, а где же проявить себя начинающим?.. Самим издаваться?.. – средств нет.

Издательства не печатают, так как молчит о них пресса, а пресса делает погоду (вроде биржи – то поднимает, то понижает ценности; но о ком упорно молчит – тот перестает существовать).

Нашим журналам и большим газетам потесниться нужно. [...]

В СССР „начинающим“ и „молодым“ дают социальные заказы, сколачивают из них литературные бригады. Это плохо. Это очень плохо. Но все же это лучше, нежели пренебрежительное замалчивание, нежели запирающие двери на замок.

Я пишу эти строки с болью в сердце, как человек, горячо любящий русскую литературу (такую горячую, порывистую, такую всегда особенную!..) и болеющий ее искусственным вымиранием в эмиграции.

Да, все „мы“ – а нас, поверьте, не мало – все мы обречены на вымирание, потому что у вершителей наших судеб иной взгляд на литературу: „на наш век хватит „признанных“ писателей, а там „хоть трава не расти“... [...]

[...] Но редакции молчат: и рукописей не возвращают, и „ни в какую переписку не вступают“... Ведь это все тот же антагонизм между отцами и детьми, между „маститыми“ и „юными“... [...]

Здесь, за рубежом, этот вопрос исключительно болезненный. В России – до большевизма – все же „юным“ – не в обширных размерах, но всегда давалась возможность проникать в литературу, чему способствовали и газеты (не так уж много было у нас больших газет, в особенности если взять процентное соотношение – числа газет и количества населения) и журналы. И даже в советской России дается возможность „завоевать себе место“ в литературе, понятно[,] с всевозможными ограничениями – в темах и в освещении.

Таким образом у нас „подающие надежду“ становились понемногу „талантами“. Были и в те времена – и касты, и зависть, и травля, и непонимание, но не было такого холодного, такого беспредельно-жестокое замалчивания. И потом: страдали писатели – единицы, но не все „юные“, не вся молодая литература.

Что же делать?...

[...]

Эта статья была мной написана месяц тому назад, но я не решался опубликовать ее, так как это все же это вызов по адресу „маститых“.

Было страшно обнажить свой меч против крепко сплоченной касты. Тем более, что я полагал себя одиноким в своем дерзновении. Но вот в № 2529 „Возрождения“ от 5 мая с. г. появилась статья Вл. Ходасевича „Подвиг“, осторожно касающаяся этого вопроса. И тогда я решил эту свою статью опубликовать полностью, без каких-либо купюр, быть может слишком задевающую наших „отцов“.

Свою статью Вл. Ходасевич заканчивает: „Если эти ростки будущей русской литературы вынесут, вытерпят, не погибнут до наступления лучших времен – это будет чудо. [...]

Если эмиграция даст зачахнуть молодой словесности, она не выполнит главного и, может быть, единственного своего назначения“...

К удивительным, прозорливым словам Вл. Ходасевича я ничего не могу добавить.»³⁷.

4. Сверхтекстовое единство газеты и поглощение «подсоветской» литературы эмигрантскою

³⁷ Начинаящий. «Драма в одном, но бесконечном действии (О молодой эмигрантской литературе)» // Голос, № 396, 29 мая 1932, 3.

4. 1. В результате внутриязыкового (в лингвистическом смысле) перевода советский писатель привлекается в качестве правдивого свидетеля, иногда и союзника.

Алексей Толстой тоже как бы привлекается в качестве свидетеля (деструкции человеческого в подсоветской России). В рецензии на его пьесу «Чудеса в решете» и на ее постановку софийским театром «Русская драма» (Русь, № 1461, 24 февр. 1928, с. 3, б.п.) написано:

«Граф А. Н. Толстой несколько лет тому назад сменил вехи и, принявши [так! – Й.Л.] коммунизм, стал совписателем и совдраматургом. В пьесе „Чудеса в решете“ А. Толстой пожелал изобразить быт петроградских совграждан в их будничной обстановке.

Следует признать, что автору удалось это сделать и не его вина, что впечатление получилось поистине кошмарное.

Выведенные им типы советской [так!] репродукции все гнуснецы без чести и совести и, если в них и проскальзывает что-либо человеческое, то это только вырывающееся иногда полупризнание о незабвенном милом прошлом.

[...].».

В конце комедии

«на сцену является жених Любы, студент Алеша, простой человек, и вступается за честь своей невесты, отбирает [лотерейный] билет и клеймит в заключительном слове через головы совграждан и ту власть, которая растлила русский народ.

Главную роль в пьесе – Любы Кольцовой – играла Е[катерина]. Н[иколаевна]. Базилевич. Она своеобразно воспроизвела тип новой русской девушки, стараясь внести в чуждую и ей и всем нам душу Любы что-то от прошлого, увы, судя по пьесе, исчезнувшего надолго [так!] от девичьей души. [...] Типы совграждан были очень удачны.

Совсем хороши были управдом и актер (гг. Галахов и Аркадьев) и не вполне выдержан тип графа Табуреткина, бывшего и раньше авантюристом, теперь ставшего вором, но все же мечтающий о красивой жизни. В изображении г. Грозного граф Табуреткин оказался мелким карманщиком [так!].

Долгими аплодисментами проводила публика вставной номер пения и танцев, исполненный русской бродячей труппой, когда по ходу пьесы нищие отец и его маленькие дети зашли во двор петроградского дома [...].

Большой зал [Кооперативного] театра [„Ренесанс“] был полон. Пьеса имела успех».

Пьеса оказывается непреднамеренным гротеском. Но *нового нормального* человека здесь еще нет. Дело не только в материале (персонажном составе пьесы), а в установке (рецептивных приоритетах) газет, помещающих ту или иную рецензию. Последовательное сопоставление право-либеральных газет «Русь» (1922–1928) и «Голос» (1928–1933) (с одной стороны) и право-авангардной «За Россию / За новую Россию / За родину / За Россию»³⁸ (1932–1940) показало бы разнонаправленность восприятия/поиска: обличающих советскую власть аномальностей (и островки сохранившейся нормальности – сады внутренней эмиграции) (с одной стороны) и ростков новой человечности (ростков будущего мартиролога будущей национальной революции, герои которого и из эмигрантов, и из подсоветской молодежи) (с другой)³⁹. Разница интерпретируема в терминах оппозиции «буржуазное – пролетарское искусство» Александра Богданова⁴⁰. Такое сопоставление и соответствующий анализ не входят в задачи настоящей работы.

А.Н. Толстой призван в свидетели, но в отношении него соблюдается определенная дистанция; за ним, очевидно, закреплён статус как бы *невольной* правдивого свидетеля. Дистанцированность выражается и в том, что его почти не печатают (перепечатавают). Редчайшее исключение – отрывки из продолжения «Хождения по мукам», призванные проиллюстрировать идеологический сдвиг в бывшем эмигранте (1927):

«Возвратившись на родину, А. Толстой принялся за продолжение романа „Хождение по мукам“, первые части которого были написаны в эмиграции. Мы помещаем отрывки из этого романа, относящиеся к первым боям Добровольческой Армии. По этим отрывкам можно

³⁸ Переименования в самом деле одной и той же (ежемесячной, а позже двухнедельной) газеты, вызываемые советским дипломатическим нажимом на туземное государство (Болгария установила дипломатические отношения с СССР в 1934 г.).

³⁹ То, что можно назвать советской социально-антропологической аномалией, сохраняет в «За Россию» свой статус если не значительнейшего, то значимого объекта внимания (наблюдается смещение к экономике), но не текстов литературных.

⁴⁰ См.: Богданов, Александр. Программа культуры (1918) // Он же. Вопросы социализма. Москва: Политиздат, 1990, 321–334; Он же. Возможно ли пролетарское искусство? (1914) // Там же, 411–419.

судить, что взгляды А. Н. Толстого на гражданскую войну претерпели существенные изменения. [...]»⁴¹.

4. 2. Иногда распределение ролей (свидетель или союзник)⁴² осуществляется в рамках одного и того же газетного номера или страницы. Так, в № 1258 (от 24 июня 1927) «Руси» (с. 2–3) помещены «Нерль» Пришвина и «Новая мораль» Льва Никулина (с. 3, рубр. «Советский быт»). Общий смысл рядоположения: собачья семья человечнее советского общества. Мир человечности между людьми и человеческого отношения людей к животным и – мир, в котором люди не в состоянии не то что осудить, но даже обсудить – даже животное в себе.

На протяжении номеров можно узнать повторяющуюся разработку одной и той же художественной и философской темы, в т.ч. приемом рядоположения эмигрантского и подсоветского или двух подсоветских произведений. Иногда может стать видимой метатекстуальная задача: не внушение той или иной «художественной идеи»⁴³, а проба приемов создания свертхтекстовых единств либо внушение некоей ментальной карты соотношений между жанровыми и авторскими дискурсами, производимых с обеих сторон государственной границы СССР.

В № 1310 от 24 авг. (с. 2–3) помещены эпистолярный фрагмент «Моему внуку (Отрывок из неизданного рассказа Ив. Савина)» (с. 2, сверху слева) и «Игрушка» Зоценко (без рубрики) (с. 3 сверху справа). Тематическая связь между произведениями – не столько воспитательная роль подарка ребенку, сколько: что мы оставляем своим детям (после себя)? В рассказе Зоценко особенно важна для эмигрантской газеты финальная

⁴¹ Русь, № 1360, 22 окт. 1927, 2–3, б.п. Печатание продолжается до № 1367. – В 1931 г. редакция газеты «Голос», идеологического продолжителя «Руси», даст *эмигрантскую* 'версию' «Хождения по мукам»: длинный ряд фрагментов из романа Николая Роспопова (бывшего дипломата на Дальнем Востоке) под тем же заглавием. По-нашему – действие, согласное с логикой становления двуязычия (из диглоссии). Понятно, терпеть произведение перебежчика Толстого в режиме взаимной дополнительности к продукции своей, эмигрантской, неприемлемо, когда речь заходит о *высоком* хронотопе или даже только топосе. Дело не в хронотопе Гражданской войны, а в топосе *хождения по мукам*, в неприемлемости эксплуатации атеистической литературой христианского топоса.

⁴² Иерархических позиций больше: союзник, свидетель, *герой анекдота* (смешного или скверного). Героями смешного анекдота становятся, напр., писатель Артем Веселый и его манера письма в романе «Недра» (Советская печать: Кобыля голова // Русь, № 998, 8 авг. 1926, 3; дан отрывок в прим. 200 слов). Героями скверного, чаще всего, – манера письма Демьяна Бедного и персона Горького.

⁴³ «Художественная идея» отличает нехудожественное произведение от художественного; она «определяет как форму, так и содержание произведения, делает его некоторым художественным единством» (В[олошин], Г[леб]. Русская художественная литература в эмиграции [лекция Бицилли]).

фраза: «Отцы виноград кушают, а у детей – оскомина». Следующий пласт: русские отцы делали вещи по иностранному образцу, но делали плохо, потому и плохой результат («Эта игрушка приготовлена совершенно по заграничным образцам. Только что там резиновые катушки бывают, а у нас – деревянные. [...] и у нас веревка. Только что наша немножко закручивается. Играть нельзя»). У Савина: «Если в школе ты читал в учебнике истории, что II-ую русскую революцию [...] подготовили социальные противоречия и сделали распустившиеся в тылу солдаты Петербургского гарнизона. Не верь! Революцию сделали кавалеры ордена Анны III ст., мечтавшие о второй [...] добродетельные жены, считавшие верность занятием слишком сладким [...]». Обобщая своими словами: революцию сделали завистники и нытики. Письмо из будущего. И в том и в другом случае: не враги сделали нашим детям плохое, а мы сами или такие, как мы, находящиеся по *эту*, а не по *ту* сторону. Рассказу Зошенко приписывается смысл, выходящий за рамки критики советского быта. Он как бы притча, истолкование которой – письмо из рассказа Савина. Не как в № 1258, здесь – иерархия без идеологической антитезы; и взаимная дополнительность в рамках одной и той же темы.

В № 1315 от 30 авг. (с. 2–3) сохраняется фокус к литературе для детей и детям: на с. 2 сверху справа: «Самое невероятное (Из посмертных сказок Андерсена)», подпись «Г. Андерсен»; на с. 3 снизу слева: хроника «Детского праздника» в Велико Тырнове («Русский дом – русским детям»), подпись «Русская мать»; с. 2–3 внизу: рассказ «Michkà» Ивана Лукаша (окончание следует).

Половина объема помещенной в этом номере части рассказа – монтаж кратких мемуарных фрагментов Лукаша о Куприне: из юношества, из молодости и из теперь, из эмиграции. Другая половина – фрагменты истории, рассказанной когда-то за столом Куприным и «подаренной» Лукашу, который «запомнил ее кусками». Герой истории – медведь, «Российский потомственный зверь Михайло Иванович Топтыгин, Друг-Миша». А герой, своеобразный, первой половины рассказа – это собственные зарисовки Лукаша, перемежающиеся с воспоминаниями о Куприне, зарисовки на тему того, как часто люди похожи, визуально, на зверей: например, министры Временного правительства – на «откормленных котов», сам же Куприн – в эмиграции – на «бобра [...] в серебре».

Здесь обыгрывается на новый лад прием коллективного авторства. При этом рассказу сообщается христианский смысл и на уровне авторской инстанции, и на уровне

отношения автора к хронотопу и к персонажу: коллективное авторство есть продукт *дара, подарка*, а персонаж есть животное, к которому относятся по-человечески.

На уровне газетного потока в этом, 1927, году становится заметной тема соотношения человеческого и животного в животном, в человеке и... в авторе.

Детская литература – другой маргинальный с точки зрения высокой классики ресурс, кроме «Козьмы Пруткова»⁴⁴, который эмигрантская газетная литературная культура вкладывает в свою борьбу за публику и против большевиков. Центральная ценность этой культуры – в артикуляции и распространении мировоззрения, одушевляющего внечеловеческий мир, мировоззрения, проникнутого христианской жалостью к твари. Линия детской литературы и линия современного Козьмы Пруткова аналитически сходятся в 1932 г. у Бицилли (в пересказе Глеба Волошина): он выговаривает их ценность при разборе мироощущения, стоящего за рассказами Надежды Тэффи⁴⁵. «Синтетически» сошлись они еще в «Мишке» Лукаша-и-Куприна.

В следующем, 1316-ом номере «Руси», помещены окончание рассказа «*Michkà*» и рассказ «Рука ближнего» Зоценко (в рубр. «Сов. быт»). Сопряжение тем соотношения человеческого и животного в животном и в человеке и «вошедшая в объектив» тема коллективного авторства снова сходятся. С преобладанием первой. У Лукаша-Куприна полкового медведя подарили временно французам, но после войны русского полка уже не было, «и сама Россия в тумане померкла»; Мишу дали в зоопарк. «И нынче стал забывать

⁴⁴ В 1927 г. вырисовывается линия опытов показать воспроизводимость стиля Зоценко и, шире, советской сатиры на советскую жизнь. Напр., в № 1252, 15 июня, 3, публикуется: Александр Г. Архангельский, «Случай на бане (Пародия на М. Зоценко)»; в № 1306, 19 авг., 3: б.п., «Собаچه беспокойство», без рубрики, анекдот как у Зоценко, но без сказового присутствия рассказчика; в № 1319, 3 сент., 3: Валентин Горянский, «Незаконный брак (Почти как у Зоценки [так!])», рубр. «Советский быт». А также опытов наложения своего авторского (эмигрантского автора) отпечатка на перепечатаваемые из советской прессы анекдотические рассказы и фрагменты. Наиболее последовательный опыт второго вида – рубрика «Волчья яма», подписываемая «Д-н»-ым (не всегда), просуществовавшая несколько месяцев в «Руси» 1927–1928 гг. Тем и другим способом строится фигура, на уровне имплицитного автора, некоего нового Козьмы Пруткова. Возможно, она строится в режиме издательской альтернативы прожектам коллективного авторства в теории огосударственного пролетарского искусства, к которым отношение такое: «Лютой тоской веет со страниц большевицкой литературной программы; от всех этих рассуждений о коллективном пролетарском творчестве просто на душе становится тошно» (Балин, Г. Литературный обзор // Русь, № 998, 8 авг. 1926, 2; пространный комментарий на тему напечатанных «в последней книге журнала „Версты“» резолюций, принятых «на XIII съезде РКП об отношении партии к литературе», и отзывов «о революции В. Вересаева, А. Белого и графа А. Толстого»).

⁴⁵ «Такое отношение к окружающему нас миру предполагает известное мироощущение. Это мир детей или людей с чистым сердцем. Рассказы о Франциске Ассизском, его беседы с животными, проникнутые христианской жалостью к твари как-то невольно напоминают чудесные рассказы Тэффи» (Б.п., «Тэффи, Аверченко, Черный» [хроника заседания Союза русских писателей и журналистов в Болгарии 18 дек. 1932 г.] // Голос, № 425, 1 янв. 1933, 4).

Мишка свой природный русский язык... / Вот какую благодатную историю и рассказал мне Куприн за именинным столом у Лодыженского / [...] Я все думаю – погасла ли русская благодатность [...]». А вот выписка из «Руки ближнего», где рассказывается о прокаженном в 1919 г., о физической брезгливости на имплицитном фоне душевной и духовной *небрезгливости*: «А я, например, товарищи, искренне верю, что через 300 лет за руку здороваться не будут. [...]». – Между двумя рассказами – семантическая гармония. Послание: цепь бытия прервана, космос творения, в котором животное человечится, а человеческое божится благодаря Божьей благодати, болеет; симптом болезни – исчезновение России.

Эмигрантская литература тоже, оказывается, может произвести рассказ о человечности животного. И за ней закрепляется функция изображения должного. За (под)советской – недолжного. Тематизируется, однако, и характер присутствия повествователя в рассказе.

В № 1338 (25 сент.), с. 3, соседствуют «Баба» Вл. Тоболякова (рубр. «Сов. быт») и «Любовь Ярика» Мих. Пришвина. Рассказ Пришвина – о поведении собачьей пары, Ярика и Кэт. Конец: «Собаки [...] могли спокойно спать и не волновались, как люди, вопросами о бытии Божьем: мы были их боги, и судьба их была в наших руках». Рассказ Тоболякова – о советском обывателе-многоженце, до смерти избившем свою очередную жену; допрашивает его судья тоже многоженец, но в отличие от него помнящий по имени трех из своих бывших жен. В рассказе Пришвина примет (под)советскости нет. Жизнь животных под Божьим небом – почти что человечья. Жизнь людей под советскими институциями – почти что животная. В этой антитезе – смысловое сопряжение между рассказами.

Диспозиция вроде бы как в № 1258-ом. Но разница есть: пришвиновский дискурс о животных уже маркирован как свой, присоединен к ряду, в котором другие члены – отрывок из рассказа Савина и рассказ, подаренный Куприным Лукашу. «Правильное» прочтение поддержано, а целых два советских литературных дискурса (пришвинский и зощенковский/тоболяковский) присоединены к «своим». Но свидетельствует ли данное присвоение/освоение о движении от диглоссии к двуязычию? Исчезает ли отношение взаимной дополнительности? Исчезает в отношении того дискурса и той иерархической позиции в системе дискурсов, которая раскрывается через рассказы Пришвина, Куприна – Лукаша и Савина. Продемонстрировано владение писателями-эмигрантами того дискурса,

из-за которого востребован Пришвин; но Пришвина продолжают публиковать, так как за ним молча признается подлинное мастерство и, что важнее, подлинная приверженность к мироощущению, проступающему за этими рассказами; иными словами: Пришвин – не ‘попутчик’ эмигрантов (а тем менее – ‘спец’ по вопросам советского быта), не советский писатель, которого интересно публиковать, а *свой*. Рассказы Пришвина реализовали определенную структурную позицию (в свертковом единстве газеты). Последующее помещение в рамках этой позиции рассказов Савина и Лукаша-Куприна как бы освящает саму структурную позицию и будущие публикации в ее рамках (напр., рассказов о детях местного автора, Александра Дехтерева).

В № 1352 (13 окт.), в рубрике «Книжная полка», Г. В. (Глеб Волошин) пишет о книгах Сергея Горного, Ивана Шмелева, Сергея Минцлова. «Кто-то из критиков сказал, что у Сергея Горного есть что-то от Андерсена: такая же любовь к вещам, ко всей обстановке, окружающей человека и им одушевленной». Горный «знает язык вещей», у него «память – не простая археология, это любовь человека к своему созданию, хотя бы и неодушевленному. Отсюда у Горного влияние вещей над человеком». Эта характеристика гармонично соседствует с определением «юмора» со стороны Бицилли в докладе о Надежде Тэффи в 1932 г. (см. ниже).

Как будто Волошин выбирал для печатания рассказы Пришвина. Вещи (создания человека) и животные – все те же твари в лестнице богозримого бытия.

Читаем отзыв о книге Шмелева, и оказывается, что не только А. Н. Толстой в пьесе строит невольный гротеск, жуткую карикатуру на советского человека: и прекрасные русские картины и типы у Шмелева помимо сознательного намерения автора и в силу контраста с картиной советской России, присутствующей в уме реципиента-эмигранта, оказываются обличением советской власти.

4. 3. Мы только что учли эмигрантскую иерархию советских писателей по степени надежности (криптополитическую). На основе особенностей паратекстуального аппарата публикуемых советских произведений можно вычлени́ть иерархию по степени востребованности (известности): 1. Произведение с продолжением и именем автора впереди текста и даже заглавия (Пильняк⁴⁶, М. Булгаков⁴⁷); 2. Произведение, публикуемое

⁴⁶ «Повесть непогашенной луны» (Русь, №№ 1084 и 1086–1095, между 19 ноября и 2 дек. 1926 г.) и др.; публикации указаны в: Петкова, Галина. Хроника культурной и литературной жизни русской эмиграции в

само по себе и с именем автора после текста (Пришвин, Леонов, Романов); 3.

Произведение, публикуемое в рамках рубрики «Советский быт» (реже: в ее варианте «(Новый) советский рассказ»), только с именем автора после текста (Зощенко, Вера Инбер, Романов, Ломакин); 4. Произведение с именем советской газеты или журнала-источника, с или без имени автора, после текста.

4. 4. Изменение во времени сочетаемости советских / эмигрантских произведений разных видов с произведениями других видов и противоположного типа (принадлежности), полагаю, показательно для поступательного либо колебательного движения во времени между ситуацией диглоссии и ситуацией двуязычия. Базисным видом (под)советских литературных произведений следует считать тексты из рубрики «Советский быт», эмигрантских – беллетристики с продолжением (чаще всего авантюрной, и с большим или меньшим элементом фикциональности). Базисным, т.е. самым частотным, а также занимающим самую низкую позицию в шкале литературной ценности (последняя формируется из сочетания эстетических и идеологических критериев). Как часто и чем «надстраивается» литературная «текстура» газетного номера – беря за базисную, «первую», степень «насыщенности литературой», с одной стороны, наличие фельетона / анекдота / рассказа под рубрикой «Советский быт», с другой – наличие беллетристического чтива с продолжением⁴⁸? (Поскольку состояние эмиграции принципиально трех-актантная структура (эмигранты, родина, туземцы), из более полного исследования нельзя исключить случаи включения произведений из туземной литературы. Но в задачи настоящей работы такое включение не входит. Нельзя исключить также текстуальную проекцию отношения между эмигрантской общностью, издающей данную газету, и другими эмигрантскими общностями: в какой степени и для текстов каких

Болгарии (1919–1940). Расширенное и дополненное издание // Русские в Болгарии. Юбилейный информационный альманах Русского зарубежья в Болгарии 1877–2007 гг. Пловдив: Вион, 2010, 222–314.

⁴⁷ «В парижском издательстве „Конрад“ вышел роман „Дни Турбиных“, отрывки которого уже печатались в „Руси“. / Приводим главу, относящуюся к моменту занятия Киева Петлюрой» (Русь, 1357, 19 окт. 1927, 3). – «Петербургский [так!] журнал, поместивший первую часть романа М. Булгакова „Белая Гвардия“, был конфискован ОГПУ. Автор переделал роман в пьесу „Дни Турбиных“, которая была принята М. Х. Т. После борьбы с ОГПУ К. Станиславский добился ее постановки; пьеса прошла с громадным успехом в Москве, во время же петербургских гастролей М. Х. Т. вновь была запрещена к постановке» (вводное примечание к: «„Дни Турбиных“ (Отрывок из романа „Белая Гвардия“) // Русь, № 1247, 9 июня 1927, 2–3 (публикуется до № 1253, за исключением № 1251).

⁴⁸ В подавляющем большинстве случаев это русское эмигрантское произведение (цикл фельетонов с общей фабулой или роман), иногда – переводное (роман с французского либо английского).

жанров и тем рассчитывает на «местные силы». Учет этого измерения сверхтекстового единства газетного номера мы тоже откладываем на будущее.)

Первый вид «литературы первой степени» удовлетворяет потребность в гамме образцов общечеловеческой «тождественности себе», относительной «нормальности», второй – в гамме образцов особой «инаковости», «аномальности». Соотнесение того и другого рядов произведений и образов способствует возможности (точнее: склонности критического сознания) идентифицировать нормальность в мире аномального и аномалии в мире нормального. Этот рутинный процесс перевода, а заодно и поддерживания базисного эстетического воспитания (литературной культурности), нуждается, более или менее часто, с той или иной точки зрения, в «модерировании», во внесении тех или иных акцентов, в устранении тех или иных нежеланных эффектов восприятия.

На первое время можно принять, что сопровождение текстов рубрики «Советский быт» литературными текстами иного вида (как советскими, так и эмигрантскими) преобразовывает восприятие «советской антропологической аномалии», а не внесоветской человеческой «нормальности». Текст может нуждаться в «конвое» в том случае, если, например, его «язык» не удовлетворяет, либо использование его «языка» считается недостаточным с какой-нибудь точки зрения. Мы откладываем приведение подсчетов (как часто и какими видами литературных текстов «конвоируются» тексты из «советского быта», наблюдается ли изменение в частотности и «репертуаре») и их толкование на последующую работу.

Показательность предполагаемого изменения не следует преувеличивать. Как основанное на подсчете, оно будет иметь значение «номотетической» рамки (предположительно-изменяющейся корреляции), с которой будут сопоставляться «идеографически»-постигаемые (объяснимые с оглядкой на возможные намерения редактора) частные случаи двух видов (ограниченное число констеляций произведений разных видов в рамках одного газетного выпуска *или* же история рецепции конкретного советского автора).

Мы только что рассмотрели частный случай первого вида. Каковы предварительные выводы? Перестает ли эмигрантская литература нуждаться в «поставке» «материала» о советской антропологической аномалии писателями (под)советскими? Осваивает ли эмигрантская литература развитые (под)советскими писателями приемы, чтобы ввести их

в изображение посястороннего, эмигрантского, человека? Довольствуется ли эмигрантская литература приемами печатаемых здесь (под)советских писателей?

Ответ на первый вопрос – нет. На второй – да. На третий – нет.

Между рассмотренными рассказами Пришвина, Савина, Лукаша, с одной стороны, и рассказами рубрики «Советский быт» (Никулина, Зощенко, Тоболякова), а также пьесой А. Н. Толстого, с другой, наблюдается инвариантная разница в поэтике и мировоззрении.

Она аналогична разнице между комизмом и юмором, так, как видит эту разницу Петр Бицилли: «Смех всегда возникает из того, что происшедшее не соответствует ожидаемому. Это несоответствие создается либо тем, что некое духовное содержание механизмуется (комическое), либо тем, что нечто материальное одухотворяется (юмор)»⁴⁹. В дальнейшем в эмигрантской прессе Софии будет стимулироваться сочетание юмора и зощенковской остроты комического видения. Иными словами: уметь видеть человека и в павшем до животного человеке, но не потакая животному.

Она аналогична, однако, и другой – между сатирой русской и сатирой советской, в понимании Германа Андреева: «Очень интересно сравнить „Клопа“ и „Собачье сердце“. И там, и здесь – человек-животное. У Булгакова получается, что обезчеловечивание человека есть следствие и выражение системы. С точки зрения Маяковского, клоп уйдет – и настанет светлое царство коммунизма»⁵⁰. Сверхтекстуальная рамка прочтения⁵¹ советской бытовой сатиры в эмигрантской газете, то и дело приводимая в инструктивный вид, переводит ее образцы из разряда сатиры советской в разряд сатиры русской.

В принципе советские газеты, «письма оттуда» и рассказы перебежчиков или новых эмигрантов, плюс освоение тех приемов письма подсоветских писателей, которые кажутся ценными, могли бы привести к соответствующей литературной продукции. Особенно в случае прекращения потока новых произведений из СССР. Но было ли такое прекращение и ощущалось ли оно читателями газеты эмигрантской как прекращение? Иными словами – была ли необходимость срочным ходом «художественно осваивать» советскую действительность? Думается, нет. Потому и литературный процесс мог бы скользить из рамки диглоссии в рамку двуязычия неопределенно долго.

⁴⁹ Б.п., «Тэффи, Аверченко, Черный» // Голос, № 425, 1 янв. 1933, 4.

⁵⁰ Андреев, Герман. О сатире // Одна или две литературы, 189–197 (191).

⁵¹ Т.е. прочтение с точки зрения смысла, задаваемого сверхтекстовым единством газетного номера и последовательности номеров.

5. Граница между литературами из географической переосмысливается в ментальную

5. 1. То, что я назвал процессом *якобы* конвергенции двух литератур, можно понимать и как процесс смещения границ понятий: некий корпус произведений, производимых в СССР, с возрастающей устойчивостью ассоциируется с литературой русской подсоветской, а не с литературой советской. Иными словами, граница из географической *все больше мыслится* эстетической или ментальной. Мне кажется, что данный процесс начинается в 1924 г. (начало публикации советских произведений о советском быте), кульминирует к 1932–1933 гг. (становление софийского (не)-Саши Черного / (не)-Зощенко – Михаила Карпова) и обрывается или уходит в зону невидимости (Карпов все-таки пишет только об эмигрантской жизни), а в 1936 г. начинается снова (приезд Солоневичей в Софию), но видоизмененным (новоэмигранты Солоневичи пишут о жизни в СССР, но не в смеховом регистре, а Карпов переходит на тексты о СССР, но не-фикциональные). Но разница и все больше *становится* не-географической. А с точки зрения 1940 г. в СССР уже осталась только советская литература, тогда как русская подсоветская сошла на нет (русские подсоветские писатели стали писать совсем по-советски или их не стало; я бы добавил: некая часть потенциальной литературы, которая была бы возможна лишь в подполье, процеживается за пределы СССР и тем самым получает шанс состояться – т.е. соответствующий опыт выговаривается и печатается⁵²).

Наблюдение за СССР эпохи Молотова–Риббентропа стимулирует эмиграцию утвердиться в своих интуициях о двуродности литературы, производимой в СССР. С точки зрения эмигрантского 1940 года и органа НТСНП эта литература выглядит, в пересказе, так⁵³. Духовной жизни в СССР нет: во-первых, потому, что советские граждане

⁵² Чаще всего – в паралитературном документальном квазижанре «писем оттуда»; в произведениях новых эмигрантов (таких, как Солоневичи); в произведениях подсоветских граждан, печатаемых во время Второй мировой войны на советских территориях, оккупированных немцами, и перепечатываемых в эмигрантском (в случае Болгарии – *как бы*) тылу.

⁵³ А. С. Духовная жизнь в СССР // За Россию, № 6 (103), 15 апреля 1940, 2–3. Автор – редактор газеты А. Степанов. – Начиная с № 98 (1 февр. 1940), газета выходит не в Софии, а в Белграде и под своим первым названием.

обучаются не только знать и мыслить, но и чувствовать по диамату; во-вторых потому, что духовная жизнь неотъемлема от искания, от неудовлетворенности, а в СССР все считается уже заранее решенным, и удачей на все времена способом, Марксом (и его двумя наследниками-большевиками), тогда как неудовлетворенности приписывается всегда политический смысл, и она карается более жестоко, чем уголовное преступление. Ростки духовной жизни есть в России «подневольной, подъяремной», но статья «Духовная жизнь в СССР» (по крайней мере, текст, оказавшийся первой частью большой статьи с продолжением) откладывает рассмотрение этого вопроса.⁵⁴ Советская печать одержима апологией – и прямой, и косвенной – партийного вождя, характеризуемого – ни более ни менее – как архитворец всего. Советский газетный и журнальный текст неизменно и уныло (т.е. без инвенции) центонен и совершенно предсказуем. С «так называемой художественной» литературой хуже всего. «То, что мы часто называем в обиходе советской литературой, ни во коей степени не является таковой». Хорошая литература времен военного коммунизма и НЭПа (Пантелеймон Романов, Федин, Леонов, Каверин, Сейфулина, Вересаев) – «доцветание» русской литературы, а не зарождение советской. «А ведь такими книгами, по существу, и заполнены советские отделы зарубежных библиотек». «Не случайно в областях бывшей Польши, занятой [так!] полгода назад советскими войсками, произведения тех авторов, написанные в период НЭП-а, конфискуются и уничтожаются при обысках с таким же рвением, как и самая непримиримая белогвардейская печать». По мере того как роль художественного слова, «если формально считать его даже советским», была сведена к «отражению зигзагов генеральной линии, коверкающих жизнь и политически и экономически», или, словами поэта Безыменского («Безымянского»), «[в]ся задача литературы должна сводиться к выполнению указаний тов. Сталина», художественная литература в СССР умерла; «конец» этот «можно отнести к 32–33 году»⁵⁵. «Как эти „задачи“ выполнялись и к

⁵⁴ По существу, утверждается существование в государственных границах СССР двух миров. «Из[-]под могильных плит государственного мировоззрения СССР пробуждается живая поросль творческой мысли. Но эти побеги корнями своими всегда уходят в глубину – в подневольную, подъяремную Россию. Но это уже другая тема и к ней мы еще вернемся, а сейчас остановим внимание на том, что же есть в СССР, в этом „мире свободы, счастья и радости“» (там же, 2).

⁵⁵ Судя по конкретным анализам, опубликованным в других газетах, образцы более или менее нормальной литературы могли создаваться и после указанного момента. См. рецензию на постановку пьесы «Платон Кречет» (1934) Александра Корнейчука: «Если зритель шел в театр с целью увидеть советскую пьесу, в которой отражен специфически-советский быт, то он жестоко ошибся[:] и завязка драмы, и ее развитие и развязка, а также и бытовой фон [...] не имеют ничего специфически-советского. [...] И несмотря на все это у

характеру определявших их „указаний“, мы вернемся в следующих номерах газеты», – пишет в конце статьи автор, А. Степанов. Иными словами, он расскажет или о «послежизни» русской литературы в условиях СССР, или же о собственно советской литературе (если такая обнаружится).

В статье-продолжении (А. Степанов, «Духовная культура в СССР. II. Художественная литература», № 104, с. 5) Степанов описывает как раз советскую литературу (а не *доцветание* русской под советской властью). В основе фабулы художественного произведения всегда лежит конфликт (его зарождение, разрешение или неразрешение). Но советский человек не может быть в конфликте ни с кем и ни с чем; ни на уровне политическом, ни бытовом, ни социальном (жизни приказано быть веселой и зажиточной); «он даже влюбиться несчастно без взаимности не может». Потому что «[в]се устранено с его пути заботливой и ласковой рукой отца и учителя». Степанов называет данное положение литературы (я бы эксплицировал: данные правила фабуло-строения и персонажо-строения) трагикомическим анекдотом. Персонаж в советской литературе – «плоское чучело», тематика сильно сужена. Степанов цитирует резолюции редакторов журналов, отказывающих в публикации (напр., поэту Михалкову – стихотворение «Рассеянный человек»). Так тоже, какое-то «Либретто [...] было отвергнуто по причинам глубоко идейным: „молодые моряки должны зорко охранять берега нашей Родины, а не влюбляться в девиц“...». «Не меньший интерес представляют образцовые, с точки зрения советской критики, произведения. Наиболее популярными из них можно назвать два: „Как закалялась сталь“ – Островского и „Танкер Дербент“ – Крымова».

Из третьей статьи получившегося цикла («Духовная жизнь в СССР. III. „Павел Греков“», № 106, с. 4–5): «Прежде чем говорить об образцовых, с точки зрения советской критики, художественных произведениях, остановимся еще на одном, характера, так сказать, промежуточного, однако, доставившем немало тревожных хлопот советским

зрителя остается некоторое разочарование [...]. Не знаю[,] виноват ли в этом автор, но, несомненно, что доля вины падает на артиста г. Деревенца, игравшего эту роль. / Г. Деревенц играл хорошо, местами очень хорошо, но Платон Кречет в этой игре потерял свойственные ему и ожидаемые зрителем черты мужского характера, нового человека и строителя новой жизни. / Весьма вероятно, что в этом виновата и эпоха, весьма вероятно, нарождающийся в Сов. России интеллигент[,] сильный в практической жизни, не обладает той духовной мощью[,] какой обладали его деды. / Невольно вспоминаешь другого доктора в нашей литературе[,] Базарова. [...] Базаров сам строил свою духовную жизнь [...]. Кречет не строил своего мирозерцания, он без борьбы в душе принял доктрину Ленина, как благовую весть. Вот почему потомок кажется духовно беднее своего предка. [...]» (Василевич, Дмитрий. «„Платон Кречет“ в театре „Русская Драма“» // Русь-2, № 72, 7 янв. 1936, 3).

критикам. Я имею в виду по-своему нашумевшую пьесу „Павел Греков“». Значит, да: есть и собственно советская литература.

«Произведения этого рода отличить одно от другого более или менее невозможно. В них, скрежеща зубами, крадутся по сцене до смешного подлые и до жалости глупые „фашистские наймиты“ (сейчас, вероятно, переименованные в наймитов буржуазии), затевающие всяческие козни против „отечества всех трудящихся“. За ними шагают по пятам, тонко их разоблачающие, остроумные и белозубые следователи НКВД. Рубаха-парни, веселые и симпатичные. В конце пятого действия этих пьес советская добродетель неизменно торжествует, а шпионский порок неукоснительно бывает наказан. [...] Во всех этих пьесах и преступники и герои говорят трудно вообразимым языком злодеев и резонеров псевдоклассических мелодрам. [...] Пьеса „Павел Греков“ отличается от остальных только тем, что в ней внимание зрителя привлечено не на сцену разоблачения „врагов народа“, как в остальных, а на личные переживания героя, именем которого она и названа. [...]».

Получается невольная тотальная пародия (о пародии см. ниже) на литературу и на мир.

А параллельно образцовой и необразцовой советской литературе существует, вызывая ассоциации по контрасту и по смежности с тем, что можно назвать огазечиванием литературы (см. ниже), и «заборная литература»:

«Откровенны люди в Сов. Союзе только в надписях на заборах и на стенах уборных. Заборная литература пользуется громадным успехом. Особенно метки выражения нецензурные. Вот несколько примеров заборных надписей:

„Жить, товарищи, стало весело – день живешь, на другой повесили“.

Кто-то повесил на заборе веревку и под ней написал:

„Для лучезарного“. [...]»⁵⁶.

Конечно, можно отнести к данному сближению как к (задним числом) антисоветски-пропагандному и сослаться на универсальность граффити (а также литературы «в ящик / в стол») в культуре.

⁵⁶ Вести оттуда: Рассказ вузовца / Б.Ч. // За Россию, № 6 (109), 5 июня 1940, 5.

5. 2. Зазор между литературой по-настоящему советской и той, которую Степанов назовет «доцветанием» русской под советской властью, или, по-иному, между советской литературой по представлениям и на вкус эмиграции и по представлениям и на вкус массового советского читателя либо советского функционера, виден еще в 1935 г.⁵⁷: «Здесь, в зарубежье, привыкли судить о литературе в СССР по Федину, Леонову, Пильняку, П. Романову, Шолохову, – но они никакой погоды не делают и не по ним растет поколение». В СССР тиражируются сентиментально-цинические пошлости (создающие культ чекиста; пример – рассказ А. Гарри в «Известиях» о том, как замерзший в декабрьский мороз на улице мальчик подобран «любящим чекистом») и пошлости «лошадиные» (ставящие в пример вульгарную повседневную речь; пример – «некто Кретова», чья книга рассказов премирована), а критики требуют от авторов фактографическую доскональность, ожидая от рассказа свойства доноса. Вера Инбер и Илья Эренбург жалуются на качество литературы в СССР, здесь они процитированы. Если Николай Михайловский прав и «книга отражает лик жизни», то тем важнее для будущего сохранение русской национальной культуры в эмиграции, рассуждает Азов. Нацеленность статьи Азова обнаруживается в ее конце: *оправдание*, с оглядкой на советскую действительность и на будущее, *культивирования* русской национальной культуры в эмиграции и, в частности, Дня русской культуры. Статья, кажется, мыслит в терминах двух литератур и культур: с одной стороны, «крепостная литература советов», с другой – «наша зарубежная национальная культура», а где-то посередине – «литература в СССР».

5. 3. Рецензия А. Степанова на пьесу «Волк» Леонида Леонова 1939 г. свидетельствует о том, что опасная доля неподвластности возможна и после превращения подсоветской литературы в советскую; граница снова (как и в 1928 г.: с оглядкой на отзыв на «Чудеса в решете» А. Н. Толстого) проходит между автором и произведением, а точнее – автором и имплицитным автором.

Степанов («За родину», № 84 от 1 июля 1939, с. 3–4) пишет о «Волке» Леонова⁵⁸ так:

«Литературная и театральная Москва шумит уже который месяц на совещаниях, диспутах и специальных лекциях-докладах, посвященных последней пьесе Л. Леонова – „Волк“. [...]

⁵⁷ Азов, Олег. Советская литература // Русь-2, № 54, 9 июня 1935, 2.

⁵⁸ Степанов, А. „Волки“ побеждающие // За родину, № 84, 1 июля 1939, 3–4.

До сих пор на советской сцене ставились только пьесы, изготовленные, по меткому выражению одного из советских критиков, методом „двухцветного печатания“. [...] Враг, как правило, [...] только и делает, что всем своим видом и словами старается показать – „смотрите, какой я подлый и глупый человек“. [...]

Содержание пьесы не блещет новизной. Есть положительный герой, которого, по смелому выражению Бурского, „хочется немедленно прогнать со сцены“, до такой степени тошнотворности он вымазан советской патокой, есть и сцена разоблачения, есть, конечно, и враг. Он и есть „волк“ – Лука Сандуков. Но враг этот новый, не похожий на старых, и судьба его сложилась по-новому.

[...] В мир лубочных добродетелей и зла, на сцену, загроможденную в течение многих лет по-детски вырезанными из картона фигурками героев и злодеев, он шагнул через рампу прямо из жизни, с улицы, из полуосвященной глубины зрительного зала...

Писатель Леонов сам себе, конечно, не враг, и он лучше, чем кто-нибудь, знает, что сила советской критики не столько в критических статьях, сколько в статьях чутких к политическим выступлениям советских законов, и поэтому он сделал все, что было возможно сделать, чтобы Лука был воплощением всех зол [...]» (3).

«Тот же Бурский в небывало смелой и больше чем откровенной статье пишет: „[...]»

...Пришлось Леонову наступить соловью на горло. Потому и молчит соловей Лука в пьесе Леонова „Волк“. Потому и скучно трещат на сцене советские скворцы“. („Лит. газета“ 30 мая).

Покорил Лука всех. Он действительно как волк, ворвавшийся в советский крольчатник. Вызванный, даже против воли автора, художественным чутьем к жизни, он разметал вокруг себя хрупкие авторские преграды, не оставил камня на камне от кропотливо созданных „ценностей“...

Победить Луке формально автором, конечно, не дано: в противном случае пришлось бы исчезнуть Луке со сцены театра, а его создателю – по меньшей мере[,] со сцены литературной, и вот единственной фигурой Луке по плечу и Луке в противовес оказался его отец, бродячий священник Лаврентий. Тот самый Лаврентий, который говорит: „Лежим сейчас все под нафталинчиком до всеобщего воскресения“, тот самый Лаврентий, который выразил до гениальности верную и убийственно антисоветскую мысль – „На душу-то не притопнешь“...» (4).

Мы бы назвали Лаврентия, пользуясь выражением Степанова, доцветом из доцветов – не русской литературы, но русской жизни.

Оказывается, Леоновым дан будущий положительный герой антибольшевистской эмигрантской *не-буржуазной* культуры. Но литературой опять будет две, т.к. эмигрантская не будет довольствоваться советским изображением «волков»:

«„Волки“ (оставим за ними это леоновское определение, хотя завтра, может быть, тот же Леонов найдет для этого другие слова и другие образы) – имеют общего с волками только то, что у них действительно мертвая хватка, стальные клыки и очень крепкие нервы. Эти люди дерзкие и смелые, закалявшиеся в глубоком подсоветском подполье, выходят сейчас на поверхность, и не в акварельные „Половчанские сады“, а на просторы необъятной родины нашей.

Для нас они уже и сейчас герои, вестники более светлых дней – открытой борьбы и предрешенной победы. Нас не смущает, что и советская драматургия и официальная печать стараются представить их как „продажных агентов фашизма“, мы знаем, что это никого не убеждающая ложь. Знаем, что их дела, подвиги и часто героическая смерть зовут и поведут за собой лучшую часть подсоветской молодежи – героев Новой России.

Их много уже, этих „волков“, борется на порабощенной земле. Не все они стреляют из пистолетов и пускают под откос поезд, но смелыми и сильными руками цепи духовного и телесного рабства рвут со всех сторон» (4).

Рассмотрение пьесы Леонова Степанов заканчивает, указывая на некое продолжение «заборной литературы» (см. выше):

«„Комсомольская правда“ рассказывала недавно о том, как на собрании в студенческом общежитии в Казани были произнесены „две антисоветских речи“. Не выкрики, не отдельные слова, а именно речи. Когда двое из комсомольцев (не все собрание, а только двое) в порядке проявления бдительности потребовали удаления выступавших из организации, то в тот же день вечером в коридоре общежития были до полусмерти избиты „обнаглевшими врагами“... Эти враги несомненно тоже из породы „волков“...

И еще – [...]» (4).

6. Младоросская альтернатива

Рецензия на «Чудеса в решете» «советского графа» печаталась в газете праволиберальной, четкой антисоветской ориентации. Можно считать ее (и рецензию, и газету) выразителем стандартной точки зрения эмигрантского большинства в Болгарии. В ней проводится политика жесткой критики СССР и активной избирательной рецепции производимых в СССР эстетических артефактов. С неменьшей силой относится это и к право-авангардной «За родину», органу национал-трудовиков, публиковавшей рецензию на «Волка» Леонова. В младоросской газете «Молодое слово» установка иная: мы бы сказали – на саможертвенное любование некоей Россией, проступающей за советскою и сообщающей той, советской, часть своего иррационального и сверхчувственного обаяния. Готовность приятия всего, идущего оттуда. Но всего, прочитанного сквозь собственные идеологические очки, прозревающие в СССР ростки желаемого развития. В 1926 г. «Г.», рецензент «Руси», в статье «Литература под надзором»⁵⁹, писал, что у тех писателей, кто не скрывается от партийного надзора в историю, разочарование в коммунистическом опыте ненароком выступает наружу (потому «положительное» «получается» «бледным, серым или плакатным», а «безрадостное, провинциальное, темное – все это ярко, все остается прочно в памяти читателей»). «Г.» обильно пользуется выводами и цитатами из статьи советского критика Воровского, лишь выговаривая вывод, напрашивающийся из наблюдений Воровского.

Спустя шесть лет критик младоросского «Молодого слова», *Ego*, увидит в «Цементе» Gladkova нового человека, родившегося вопреки удручающему опыту с коммунизмом⁶⁰:

«Роман Ф. Gladkova, облетевший весь мир, и переведенный на многие языки, является, без сомнения, одним из выдающихся произведений Советской России. Весь роман написан в образных, сочных тонах, выдержанных до конца.

В „Цементе“ нет фальши, нет *слащавости* [замещаю разрядку курсивом. – Й.Л.], нет „заказа“. Gladkov уделяет немало внимания „антисоветчикам“, обрисовывая их вполне

⁵⁹ Г. Литература под надзором // Русь, № 1159, 19 февр. 1926, 2.

⁶⁰ Ego. Цемент: роман Ф. Gladkova // Молодое слово, 13, ноябрь 1932, 2, «Литературный отдел». – Пользуясь случаем благодарить В. Беспрозванного за вопрос к докладу: почему так поздно комментируется «Цемент»? Возможный ключ к статье – ее начало: «проверка» романа временем и публикациями усиливает убедительность обращения к нему. Цель – убедить эмигрантов в его художественности и достоверности. А также внушить, что в нем запечатлелся как можно дольше период советской власти. Расчет на конформизм и плохую осведомленность. По какому изданию цитирован роман, установить пока не могу. Вопрос же о (не)синхронности эмигрантских републикаций советских произведений требует отдельного рассмотрения.

объективно⁶¹. Партийцы, рабочие, бюрократы, коммунистки, циники и идеалисты – живут. „Цемент“ является рядом человеческих документов людей, поставивших на карту все самое дорогое и ценное для достижения заветных целей, в которые многие из них верят. Таковыми являются главные герои романа Глеб Чумалов и его жена Даша. Оба кремневые, оба упористые и заядлые коммунисты из идейных.»

«[В Даше] борются два чувства: долг, сознание необходимости „окаменеть“, стать механизмом в организме республики с одной стороны и неумершие чувства матери и жены[,] с другой:

„Мы только работники. И ничего так не боимся, как своих чувств. Мы всегда под замком.“

Не потому ли достижения „морального порядка“ советского „катехизиса“ иногда начинают казаться чем-то искусственным, жестоким и грошевым:

„Коченеет и бледнеет малютка коли не дышит мать на ее головку [...] как пустой бочонок“.

А жизнь идет и то, ради чего „зеленели горы трупов“, делается пошлым и оскорбительно бросается в глаза. [...]

„[...]“

Даже самые ярые коммунисты начинают прозревать. [...] Есть, оказывается, и „бетонные истуканы“, без сердца и нервов. Это товарищ предисполком Бадьин [...] и тов. Чибис, председатель чека. Оба портрета, однако, написаны довольно искусственно и неярко. [...] В романе чувствуется в общем скорее разочарование, чем бодрый тон. Революция не оправдала себя. Герои „Цементы“ верят во что-то иное, в синтез прошлого и настоящего.

[...]

И это новое придет. И придет оно не с красной звездой, не с надрывными декларациями Маркса и Ленина, а с *русскостью, национализмом и социальной справедливостью* [замещаю главные буквы курсивом]. Это время не за горами».

Конец; на той же странице, рядом: стихотворение без заглавия Александра Стоянова (первое двустушии: «Рубин заката. / Талые снега. [...]»); отзыв о новом романе Евгения Тарусского «Дорогой дальнею» (Париж, 1932):

«Новая книга Евгения Тарусского имеет много достоинств.

⁶¹ Что означает обрисовать объективно, мне непонятно. И как эмигрант может знать какое изображение подсоветских антисоветчиков объективное, а какое – нет?

Она – занимательна. Это роман и роман с приключениями. Сами приключения притом осмысленны. [...]

Книга насыщена бодростью. [...]

Младороссы приветствуют в Евгении Тарусском тот национальный пафос, которым горят и они сами. В этом пафосе – залог нашего примирения и будущего единства».

Конец; вместо подписи – источник: «Младоросская Искра». Соотношение в объеме между рецензией на книгу Гладкова, стихотворением Стоянова и отзывом на книгу Тарусского – 9 : 2 : 1.

Нижняя половина страницы занята не то статьей, не то эссе «К новой вере», подпись – «Генри». Страница образует формально-содержательное единство, чья основная цель – убедить в возможности и необходимости объединения советских и зарубежных русских под знаменем идеологии, отличной как от «красной», так и от «белой». Примечательно ускользание от персональной ответственности за послание. Жанровый ключ – не анекдот и плач сквозь смех, и не элегия, а смесь любовного стихотворения и стихотворной эпифании в духе Вл. Соловьева или ранних Блока и Белого⁶².

Идеализующе-прочитанной советской литературе рядопологается литература собственного (эмигрантского) производства, а центр, их объединяющий, мыслится в некоем будущем на русской земле. Приписывается общность идеологии, а в объекте изображения и в эмоциональных ролях видна взаимная дополнительность: *там* прозревают, а *здесь*, уже прозревши, стремятся *туда*. Эмигрантская литература (а точнее: производимая под чуждым небом литература на русском) готова быть поглощенной литературой советской, путем возвращения эмигрантских писателей на родину. В психологических терминах – регрессия (в материнское лоно) вместо индивидуации⁶³. По всей вероятности, однако, здесь только иллюзия разрешения «диглоссии» в *единоязычие*.

⁶² В отличие от национал-трудовиков, младороссы подсоветских героев-антикоммунистов не ищут. Решительно преобладает благодушно-молитвенное доверие к происходящему *там*. В этом – некоторый парадокс, т.к. они, в отличие от тех же трудовиков, самих себя для военной и другой специализированной деятельности на территории СССР не готовят. Судя по литературным и паралитературным текстам, субъектность у младороссов вверяется кому-нибудь находящемуся *за* и *над* гранью видимости, но это не Бог.

⁶³ Вся эта схема видна уже в программной статье Андрея Игнатъева, «К России» (Молодое слово, № 4, 1 дек. 1931, 1–2). – До своего 4-го номера газета была литературной и беспартийной.

Другой автор «Молодого слова» менее критичен к условиям, породившим новых советских людей и, кроме того, играет на струне *соблазна мученичеством* и на ветхом интеллигентском комплексе вины перед «народом»:

«В России был создан тип нового человека. [...] Эта крепко спаянная, сознательная, с большими волевыми качествами молодежь двинута большевиками в бой за технико-экономическое первенство. [...] Цели совпали, поэтому большевики и держат пока молодежь в своих руках. [...] Мы, эмигранты, и наши дети должны будем влиться в русло русской жизни. Примет ли нас Россия, тех, кто в угоду иностранцам усугублял русскую беду, тех, кто углублял пропасть между Россией и „Зарубежьем“??? [...]»⁶⁴.

В 1928 г. «Русь» видела иную новую молодежь (и, во всяком случае, не на страницах советской литературы). В № 1496 (с. 2) Александр Дехтерев, под заглавием «Железное поколение» и после краткого введения, дает слово одному из этих молодых людей. Речь идет о поколении, идущем на смену «старому, упадочному поколению» 20-х гг.

«Еще недавно весь мир облетела весть о том, как несколько мальчиков захватили советскую паровую шхуну „Утрыш“ и привели ее в Варну.

Расскажу о другом разительном случае.

Сережа М., 14-летний мальчик, он бежал из Одессы и в настоящее время живет и учится в Шуменской русской гимназии.

Родился Сережа 4 августа 1914 г в Томске. Отец его, инженер, мать – учительница, оба умерли в 1917 г. Сережа остался на руках у бабушки, но через год и она умерла в крайней нищете. Теперь пусть Сережа сам рассказывает: „[...]“⁶⁵.

В исследуемых газетах прослеживается как установка на присвоение (под)советского для постройки своей литературной (тематической, жанровой) системы, так и установка на самоуподобление советскому (реципируемому советскому). Первая вне зависимости от интенций участников поддерживает процесс обособления двух литератур, о второй мне

⁶⁴ Шевелев, В. Пора понять // Молодое слово, № 5, 1 янв. 1932, 2.

⁶⁵ Дехтерев, А. Железное поколение // Русь, № 1496, 6 апр. 1928, 2. – Дехтерев отсылает к статье Н. Маринина «Люди железа и крови» (№ 1480, 18 марта).

трудно судить. Первая является господствующей на страницах прессы, выходящей в Болгарии; вторая имеет место лишь на страницах младоросского органа «Молодое слово».

7. К будущей истории литературной культуры русской эмиграции в Болгарии: важнейшие «сюжеты»

Процесс кажущейся конвергенции эмигрантской литературы и части производимой в СССР литературы, он же гипотетический процесс обособления двух литератур, русской и советской, путем поглощения эмигрантскою литературой литературы подсоветской и путем освоения первой же некоторых подсоветских тем и приемов письма, можно проследить на примере рецепции творчества М. Зощенко на протяжении 1924–1933 гг.

Рецепция творчества Зощенко – один из четырех, на мой взгляд, важнейших «сюжетов» для будущей истории литературной культуры русской эмиграции в Болгарии. Все они имеют отношение к тому, что можно назвать *олитеруриванием газетной культуры*, а также, большей или меньшей интенсивности, отношение к делению литературы на русском языке на русскую и советскую.

Критерии важности – самоопределение, самовыделение: от не-литературы; от литературы «туземной»; от литературы советской; от литературы других эмигрантских центров, главным образом Парижа; а также обретение внутренней динамики. Это – принципиальные критерии; в данном случае второй из них может отойти на задний план, так как болгарская литература не была для литераторов русской эмиграции в Болгарии «значимым другим».

Второй «сюжет» – прообразование, обособление, сосуществование и переплетение двух литературных культур в рамках эмигрантской общности в Болгарии: назовем их, условно, буржуазной и пролетарской, или буржуазной и авангардной. Главные действующие лица – индивидуальные и коллективные авторы в первую очередь следующих софийских эмигрантских газет: «Русь» (1922–28 гг.), «Голос» (1928–1934 гг.), «Голос Труда» (1933–36 гг.), «Голос России» (1936–38 гг.), «За Россию» (1932–1940 гг.). Вслед за теоретиком пролетарской культуры Александром Богдановым, мы имеем в виду прежде всего функциональную разнонаправленность двух литератур: на заполнение

досуга и на воспитание боевой идеологической солидарности (против в самом деле эксплуататорской советской власти, в данном случае).⁶⁶ На первый взгляд, такое двуделение приближается, пусть и при диаметрально противоположной оценке двух групп явлений, к выговоренному Ефимом Эткингом в 1978 г., при котором Зинаида Гиппиус и Демьян Бедный оказались с одной стороны, а Цветаева и Пастернак с другой стороны мысленного рубежа; лишь на первый взгляд.

Фрагменты из вступительной части эткиндовской апологии настоящей поэзии⁶⁷:

«Живое воплощение единства русского поэтического процесса Запада и Востока – Марина Цветаева. Особый интерес представляют ее блестящие критические статьи [...]. Цветаева лишена провинциальной ограниченности или, что то же, брезгливо-эмигрантского высокомерия. Она подчеркивает свое единомыслие с обоими поэтами, в которых видит наивысшее осуществление современного ей русского языка [Маяковским и Пастернаком]. Прежде всего, она полемически противопоставляет понятия современности и злободневности. [...] Согласно ее взгляду, грех злободневности в равной степени свойствен „обеим“ русским поэзиям – Востока и Запада. [...] „Художественной“ разницы между левыми и правыми нет – про тех и других можно сказать: „Юпитер, ты сердисься, значит ты... бездарен“. Удивительно ли, что стихи Д. Бедного и З. Гиппиус безнадежно устарели [...]. З. Гиппиус и Д. Бедный противники политические – отнюдь не эстетические; как авторы рифмованно-газетных инвектив они принадлежат к одному литературному направлению, они – союзники».

Процитированные Эткингом стихи Гиппиус относятся к периоду между октябрём 1917 г. и ее отъездом за границу (что и отмечается им). Отметим, что, в отличие от Горького и Демьяна Бедного, Зинаида Гиппиус писала свои политически-ангажированные стихи, не состоя на иждевении у политической либо государственной власти (более того – победоносной), несмотря на поиски Мережковским политических покровителей за

⁶⁶ Показательно для процесса взаимодействия двух типов культур, при котором не-буржуазная берет верх – переименование библиографической рубрики с «Книжной полки» на «Литературу и жизнь». Данный процесс описан фрагментарно как процесс совершившейся в рамках эмигрантской общности Болгарии «консервативной революции» в: Люцканов, Йордан. «Голос Труда» // Периодика на руската емиграция в България, 190–215 (195–199). О сожительстве / противостоянии двух литературных культур см.: Люцканов, Йордан. «За Россию» // Там же, 242–265 (251–3, 258–60); Он же. «Голос Труда» // Там же, 202–203.

⁶⁷ Эткинд, Е. Русская поэзия XX века как единый процесс // Одна или две литературы, 9–30 (см. 15–21). – Отметим размах, я бы прибегнул к неологизму «мировещательный», начальной фразы. Собственно апология начинается после с. 21.

пределы Советской России. Нам кажется, что сравнения типа эткиндовского зависимы от сугубо эстетических критериев. Мы считаем эти критерии принципиально недостаточными при обсуждении темы «две литературы или одна». В отличие от Эткинда, Г. Андреев не находит возможным придерживаться только эстетических критериев классификации, т.е. полностью релятивизировать географический фактор и оставить за скобками этический, чем он оказывается созвучен «нашим» источникам. Конечно, у Андреева и Эткинда «герои» разные: и с «хорошей», и с «плохой» стороны. Но сам выбор уже показателен. Несколько упрощая, можем сказать, что у Эткинда получается так: те, кто «хорошие», стоят поверх барьеров разъединения, а те, кто «плохие», сидят в окопах. (Можно сказать и так: те, кто символизируют единство, хорошие и т.д.). Я бы сказал, что за эстетическим утопизмом просвечивает и национальный.

Нам кажется, что общий знаменатель между Богдановым и Эткингом – утопия. Социальная – у Богданова, эстетическая – у Эткинда. Третий вариант – национальная. Одна из политических газет русской эмиграции в Болгарии поместила заметку о поэтическом вечере Цветаевой. В заметке мы видим прочтение стихов Цветаевой (и двуединого – через госрубеж – русского литературного поля), предвосхищающее Эткиндово, но с позиции утопии национальной:

«[...] Марина Цветаева – великий поэт и поэт самый „поэтический“ из всех современных русских поэтов. [...]

М. Цветаева не боится никаких тем, не подчиняется никаким правилам, не соблюдает никаких приличий. Она слишком большой и живой человек, чтобы оглядываться на литературные лорнетки. Она ни по кому не равняется. [...]

За это М. Цветаеву не любят.

Эту „нелюбовь“ особенно подчеркнул ее последний литературный вечер, в известной степени позорный для парижской литературной эмиграции. Великого русского поэта пришлось послушать не больше двадцати человек, по большей части родственников или близких знакомых. Зато вместо „литературного вечера“ получился просто вечер. [...]

М. Цветаева читала свои стихи и прозу. Из прозы – свой может быть лучший, самый горестный и самый человеческий рассказ „Три смерти“, о смерти Р.-М. Рильке, старой французской учительницы и слабоумного эмигрантского русского мальчика. Может быть такие рассказы не надо читать [...].

Во втором отделении М. Цветаева читала отрывки из своей поэмы о Царской Семье и целый ряд лирических стихотворений, периода 1918–1931 гг. Между политическими стихами, и „правыми“, патриотическими, где Царь неизбежно рифмуется с встарь, – и стихами революционными[,] *обыкновенно не* бывает особой разницы. Слишком болезненна еще „тема“ царской семьи, не совсем относится она еще к истории. М. Цветаева и здесь нашла нужные и простые слова и поэма о Царской Семье у нее не вышла своеобразным „социальным заказом“. От прикосновения к большой и непоправимой национальной и человеческой трагедии, ее стихи стали только еще более значительными, трагическими и национальными. В последнем слове не надо усматривать снижения[;] – всякий большой поэт – национален, потому что всякая большая душа не может жить в искусственной клетке, отгородившись от жизни и страданий своего ближнего. Хотим мы этого или нет, – М. Цветаева является нашей большой национальной гордостью. Она великий – и русский поэт.»⁶⁸.

Третий «сюжет»: это собственно движение (процесс) олитературивания газетной культуры; движение это, параллельное движению «огазетивания» литературной культуры, несколько раз кульминирует в *газетах – произведениях литературы* (в 1923, 1931, 1932, 1929, 1933, 1936? гг.), а по меньшей мере раз – к созданию антропоморфного образа газеты (в 1932 г.: «Голос», № 412, 4). Действующие лица – Петр Вознесенский, Глеб Волошин, Георгий Раппопорт и другие. Артефакты – газеты «Кнут», «Софийское болото», «„Газета“ Кружка любителей русской словесности „Баян“» и (с оговорками) «Вопль»⁶⁹; однодневные газеты «Настоящая Наша жизнь»⁷⁰ и «Голос борьбы»⁷¹.

⁶⁸ Унтервальд. Вечер Марины Цветаевой // Молодое слово, № 5, 1 янв. 1932, 3. – У автора вместо курсива – главные буквы.

⁶⁹ Словарная статья, посвященная этому изданию, как таковое (т.е. как газету, прошедшую известную часть пути к превращению в авангардное литературное произведение) его не рассматривает. См.: Русев, Радостин. «Вопль» // Периодика, 95–99.

⁷⁰ Газета-пародия на две «настоящие» газеты, оспаривающие друг у друга права на преемство, после раскола в редакции. Вышла в типографии. См.: Люцканов, Й. «Настоящая Наша жизнь» // Периодика, 475–477.

⁷¹ Судя по аналитическому портрету газеты (Люцканов, Й. «Голос борьбы» // Периодика, 147–155), она до типографии не дошла, оставшись на этапе беловика на пишущей машинке. Возможно, и не предназначалась для обращения вне узкого дружеского круга; хотя, судя по ее содержанию, она вполне могла играть роль политически-ангажированной стенгазеты (для повышения *уровня самосознательности* путем самоиронии среди единомышленников или для осмеяния *бывших* сопартийцев – трудно сказать). На примере «Голоса борьбы» можно проиллюстрировать гипотезу о том, что в эмиграции (по крайней мере вне Парижа и Праги и в период оскудения местной периодической печати) литературная культура возвращается к некоему подобию Haus-Literatur, семейно-поместного, до-общественного бытия русской литературы (о ней см.: Bicilli, P. Die „Haus“-Literatur und der Ursprung der klassischen Literatur in Russland // Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven 10 (1934), Hft 3–4, 382–420; за ссылку на эту работу я обязан Галине Петковой).

Огазечивание литературной культуры – как бы нормальный, однонаправленный с течением реки, процесс. В русской эмигрантской общности Болгарии процесс выражается *видимым* (но статистически – пока – неудостоверимым) преобладанием кратких жанров (особенно в поэзии); «дрейфом» смежного квазижанра (или семьи жанров) фельетона в зону «литературы» (но не исключено, что это лишь позднейший рецептивный эффект – т.е. эффект безотчетного желания литературоведческого прочтения, в т.ч. автора этих строк, расширить пределы своего объекта там, где они кажутся слишком стесненными); *смещением*, в т.ч. визуальным (литературные тексты встречаются на газетных страницах вперемешку и вперемежку с не-литературными, что не может не влиять на целостное восприятие того или иного литературного текста и их совокупности и что вызывает порой целенаправленные конструктивные контр-акции). Важный аспект процесса засвидетельствован Петром Бицилли в 1932 г.: «Интересна остро и четк[о] написанная статья П. Бицилли „Венок на гробе романа“ (о смерти романа классического и вероятном рождении романа нового – из недр уголовного фельетона)»⁷².

Наблюдается несколько попыток остановить или задержать процесс «запрудами»: литературными газетами: такими, как «Листок Студенческого академического кружка» и как «Молодое слово», до его овладения изнутри партией младороссов. Но это все еще огазечивание литературной культуры. Выпуски названных газет являются вместилищами литературных произведений, но сами они эстетическими, а тем менее литературными, артефактами не являются.

Названными «запрудами» удерживается, можно полагать, статус литературных текстов как произведений искусства (в смысле Ханса Бельтинга): пребывающих в рамке

⁷² S[enex]. «„Числа“, 7, 8» // Голос Труда, 431/20, 5 марта 1933, 3, «Литература и жизнь». – А вот уже сам Бицилли (Числа, 7/8, 166–173): «В пародии высмеиваемые черты не шаржируются, не преувеличиваются, а только обесмысливаются» (171). «Роман же, изображающий пародию на жизнь, сам может быть только пародией романа. Жид этого и добивается, намеренно сшивая материю своих романов белыми нитками, механизуя конфликты, утрируя параллелизмы ситуаций и т.п.» (172). Роман, оказывается, «и не думал умирать»: «Мы все смотрели в литературу; что бы нам заглянуть и в беллетристику?» (172). «Приютившись на пятой странице ежедневной газеты, он терпеливо дожидается читателя – и оказывается правым: верный старому другу, читатель, минуя Бунина, Тэффи и Ремизова, пробирается к нему на газетные задворки и с тем же нетерпением, кажущимся ценителям изящного тупоумным, на самом деле глубоко человеческим – с каким он некогда торопился узнать, свидится ли Хариклея с возлюбленным Феагеном, удастся ли душкерыцарю выбраться из заколдованного леса, ждет, чтобы красивый и симпатичный агент Скотланд-Ярда раскрыл перед ним тайну убийства мистера Вилькинсона [...]. Смерть романа в литературе и его посмертная жизнь в беллетристике[...] говорит о смерти культуры Нового времени [...]. Историкам и философам культуры любезный читатель с полным правом противопоставляет скотницу Хавронью, бывшую, как известно, мастерицу сказывать истории» (173, конец). – Литературу атакуют с двух сторон: беллетристики и документалистики (как подлинной, так и *сделанной*).

артефактов, требующих особенного (отрешенного от быта) к себе отношения. С простой социологической точки зрения Богданова – островки буржуазности. Даже возможное наличие в них экспериментальных произведений, которые с точки зрения исторической поэтики можно было бы назвать авангардистскими, не сняло бы – и не снимает в наших глазах – признак «буржуазности»; с менее жестких позиций – признак буржуазной (умеренной) консервативности. Заведомо понятно, что типографическое пространство таких «островков» эстетическому переосмыслению (и преобразению) не подвергается. Знаменательно то, что «вспышки» эстетического преобразования типографического пространства наблюдаются на страницах «Молодого слова» уже после овладения газеты политической партией. Притом материалом в наблюдаемых структурах – мы назвали бы их монтажными и «визуально-центонными» – выступают как нелитературные, так и литературные тексты.

Процесс «олитературирования газеты» соотносим с процессом происходившей в русской эмигрантской общности Болгарии в конце 1920-х – середине 1930-х гг. консервативной революции (или ее подобии)⁷³. Он соотносим и с хронической скудностью (или хроническим оскудением) материальной (а возможно и кадровой) базы эмигрантского литературного поля. Он соотносим, наконец, с разноуровневым процессом схождения и размежевания «буржуазной» и «пролетарской»/«авангардистской» по типу литературных культур. Конкретизацию этих утверждений мы откладываем в сторону.

Четвертый «сюжет» – появление литературы как бы *двойной* эмиграции: *тут*-издата сбежавших из СССР, находящихся в состоянии недоинтегрированности в эмигрантское общество, известной внутренней эмиграции в отношении к нему. Эту литературу можно рассматривать как некий с неба упавший синтез **подсоветской** и эмигрантской ветвей русской литературы – и на уровне ментальности и идеологии автора, и на уровне хронотопа. Ментальность и идеология автора – *наши* уже в силу того, что он сбежал и что **то, что** он пишет, *там* никогда не было бы напечатано и даже написано; и в силу того, что он ищет и находит с *нами* общий язык, при всем том, что он перегружен *тамошним*, *нездешним* опытом. Хронотоп – синтезный потому, что эмигранты обычно пишут о здесь-и-теперь и о там-и-тогда, а лишь подсоветские и очень немногие из эмигрантских, да и то

⁷³ Гипотеза о ее протекании, фазисах и (коллективных) агентах с оглядкой на теорию культурного поля Пьера Бурдьё высказана автором словарных статей о газетах «Голос», «За Россию», «Труд», «Голос Труда» (Периодика, 2012), по ходу анализа их текстуального и идеологического содержания.

очень редко, могут писать о там-и-теперь. Самые видимые и самые громоздкие артефакты такой литературы в горизонте эмигрантской общности в Болгарии – это продукция Солоневичей (Ивана, Бориса, Тамары, в некоторой степени – Юрия)⁷⁴.

К этим четырем «сюжетам» можно прибавить еще три. Один – в известной степени вариант процесса рецепции Зоценко и формирования софийского (не)-Зоценко Михаила Карпова. Это – процесс становления софийского Есенина (а точнее софийского не-Есенина) Александра Стоянова. «Завязка», кажется, в отзыве на его первую книгу стихов (1928) в «Руси» (приводим целиком):

«Небольшая и опрятно изданная книжечка стихов А. Стоянова привлекает внимания задушевностью и, хочется сказать, духовной чистотой стихотворений. Первый отдел стихов посвящен „родной земле“, но, в сущности, ей посвящены все стихотворения А. Стоянова, который нашел для поэтического выражения своей любви к родине и подкупающий искренний тон, и свежие образы. Его Русь – деревенская, Есенинская, но есть у него и своя беженская тоска, сродная панихидным мелодиям покойного И. Савина.

К недостаткам молодого поэта следует отнести замену рифм ассонансами и возведение в систему несоблюдение размера.»⁷⁵.

Сюжет можно проследить на основе нескольких публикаций – реакций на его книгу стихов «Потерянная земля» (1935) и, возможно, на его статью о Есенине⁷⁶. Интрига сюжета – в статье Стоянова о Есенине и в факте его сотрудничества, на протяжении около

⁷⁴ Основная трибуна их текстуальной продукции – выпускаемая ими же газета «Голос России». К предыстории «двойне эмигрантской» литературы и ее рецепции можно отнести материал: Карин, С. Откинув закон Бога: О книге Бессонова «Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков» // Русь, 1459, 22 февр. 1928, 2. – Книга – прообраз будущей литературы, отзыв о ней – контрапункт к материалам о годовщине первопоходников (участников Первого Кубанского – Ледяного – похода 1918 г.) в том же номере.

⁷⁵ Книжная полка: «Александр Стоянов. Стихи. София 1928 г.» / б.п. // Русь, № 1562, 27 июня 1928, 3.

⁷⁶ А.С., «Есенин» (Молодое слово, № 3, сентябрь 1931, 1–2), Александр Стоянов, «Есенин и Россия» (Молодое слово, № 4, 3; продолжение); Иосиф Кузнецов, «Потерянная земля», (Русь-2, № 51, 19 мая 1935, 4; указано в: Русев, Радостин. Листок студенческого академического кружка // Периодика, 457–462; 462); Н. Принцев, «Александр Стоянову» (Русь-2, № 41, 3 марта 1935, 3; восхваляющее; «... // А в „Потерянной земле“, / Где от Бога вдохновење, / Ваше лучшее творенье, / Вся душа горит в огне! // Где же слышится Есенин, / Там, простите, не поклонник: / Песней прошлого обвьян, / Рифмы строгой я сторонник. // [...]»). Н. Принцев один из двух регулярных в «Руси» Ивана Бутова поэтов, но, заметим, материал под заглавием «Наш поэт» в № 39 (с. 1; Дмитрий Сидоров) относится к Петру Евграфову (не к Принцеву, а тем менее к Стоянову). «Русь» помещает еще одну рецензию на книгу Стоянова (№ 39, с. 3, рубр. Библиография): «Александр Стоянов, „Потерянная земля“, София 1935 г.», подпись Sigma. Про Есенина у Сигмы нет, зато затрагивается одна из главных литературно-критических тем, относящихся к эмигрантской литературе (опасения слащавой ностальгичности).

полтора лет, с «Молодым словом» как органом младороссов (по крайней мере, до № 18, май 1933 г.). Стоянов называет Есенина настоящим русским человеком, любящим свою родину, упрекая эмиграцию за мелочность, поверхностность и несправедливость к нему. Давая известную характеристику поздним стихам Есенина, Стоянов наверняка вызывает часть читателей на нахождение параллелей между этими стихами и «Потерянной землей»:

«Предчувствуя смерть тела, его песни исполняются необыкновенной красотой воскресающей и очищающейся души, и было бы справедливо назвать этот цикл⁷⁷ стихов *циклом прощания с родиной*. Это, впрочем, вполне понятно. Есенин потерял все, чему поклонялся и во что верил. Последнее и было одной из главных причин разыгравшейся трагедии.» (Молодое слово, № 4, с. 3; курсив наш).

«[...] Есенин был „бельмом на глазу у большевиков“. Он никогда не принадлежал к „Кремлевской свите“ бездарных и беспринципных поэтов, вроде Маяковского и Демьяна Бедного, создавших себе известность цинизмом, угодничеством большевистской власти, кликушеством, плакатной мазней и прославлением застенков. Есенин открыто заявлял: [...].

Защило Есенина его „пролетарское происхождение“, да любовь народная» (№ 3, с. 1).

У нас не хватает сведений, чтобы сказать, что именно защитило Стоянова от подозрений в сменовеховских настроениях. В 1929–1930 гг. он регулярно публиковал стихи в «Голосе»; в 1942–43 гг. он пользуется популярностью и печатается в оказавшемся последним эмигрантском периодическом издании в Болгарии – журнале Национальной организации российских разведчиков «Потешный», где последней его публикацией оказывается «Открытое письмо тов. Сталину»⁷⁸ («Покрыв преступление плащом большевизма...»).

Другой дополнительный сюжет (правда, не один, а пучок нескольких аналогичных): профессиональный путь русских интеллигентов и литераторов «местного» (болгарского) «производства»: пример – Михаил Шишкин, *первый русский* выпускник Софийского университета (Юридического факультета), священник, автор исторического романа⁷⁹.

Прочитируем краткую рецензию на его роман целиком:

⁷⁷ Не уточняется, какой именно цикл. Имеется ввиду «творчество 24–25 годов».

⁷⁸ О Стоянове в этом журнале см.: Русев, Радостин «Потешный» // Периодика, 542–548 (546–7).

⁷⁹ О Шишкине: Неделя, № 7, 14 июля 1924, 4 («Первый русский, окончивший Софийский университет. О. Михаил окончил юридический факультет»), 1924 г.; Русь, № 1319, 3 сент. 1927, 3 (Скромный юбилей /

«Это – роман из эпохи гражданской войны, явление чрезвычайно редкое⁸⁰ на книжном рынке, и уже по одному этому заслуживающее внимание. Отрезок времени, в котором протекают рассматриваемые автором события, не особенно благоприятен для описания гражданской войны: начиная с отступления Добровольческой армии, автор, в сущности говоря, касается периода ее развала. Но, как об этом можно заключить из предисловия, автор не мог по собственному усмотрению выбирать любой период гражданской войны, т. к. роман его имеет отчасти автобиографический характер: М. Шишкин описывает то, чему он был свидетелем и не заботится о художественном вымысле. Он и посвящает весь роман истории одного полка и за пределы биографии некоторых из чинов этого полка не выходит.

Рассказывает автор скромно, не выставя нигде себя, достаточно объективно; он всей своей душой с белыми, это слово он пишет с большой буквы, но не рисует одной черной краской и красных, у которых находит и волю к борьбе и фанатизм.

Автор верит, что борьба не кончена, в белых он видит свернутые знамена, откуда и получил название его роман.

Хорошее и искреннее настроение автора, его вера в то, что Россия возродится, составляет основу всего романа, который поэтому мы и рекомендуем читателю».

Третий дополнительный «сюжет»: литературные журналы русской эмиграции в Болгарии. Таких журналов, по-моему, два, а на уровне самообозначения – один⁸¹. Один выходит в первой половине 20-х и является корректным вместилищем литературы («Эос»)⁸². Другой выходит в 1942–43-гг., и как литературный себя не обозначает, но литература присутствует в нем не только в литературном отделе, а на уровне семантики целого выпуска: композиция некоторых выпусков демонстрирует то, что принято называть литературоцентричностью русской культуры («Потешный»)⁸³. Т.е. литературная

Инвалид). О его романе «Свернутые знамена» (София, 1931): Голос, № 364, 4 окт. 1931, 3, рубр. Книжная полка, б.п. (автор, возможно, Глеб Волошин). О том, что он пишет стихи, узнаем из публикации в «Руси» (№ 872, 5 марта 1926, 3) о чествовании памяти героев казачества.

⁸⁰ В ноябре 1926 г. на очередном собрании, устроенном союзом «Долг Родине», писатель Александр Феодоров читал отрывки из своего нового романа, «Исход», оставшийся, насколько нам известно, неопубликованным (возможно, впоследствии роман получил другое заглавие, в т.ч. потому, что замысел претерпел изменения); судя по пересказу и цитатам, действие романа относится к Гражданской войне. См.: В[олошин], Г[леб]. «Исход» // Русь, № 1082, 17 нояб. 1926, 3.

⁸¹ С оговоркой – еще два: «Изгнанник» («Периодический литературно-художественный и общественный журнал», 1922) и «Верный путь» («Литературно-политический журнал», 1928).

⁸² Портрет издания см. в: Русев, Радостин. «Эос» // Периодика, 724–728.

⁸³ Подкрепим анализом это свое утверждение в другой работе.

культура русской эмиграции в Болгарии шла к олитературиванию не только газетной, но и журнальной культуры; но не дошла⁸⁴.

8. Молодая эмигрантская литература в Софии не отметала злободневности

Софийская рецепция Зоценко, важнейшими участниками которой являлись критик и редактор Глеб Волошин, литературовед Петр Бицилли и молодой писатель Михаил Карпов, опровергает известное заключение Зинаиды Шаховской: молодая эмигрантская литература отметала злободневность⁸⁵. А диалог в 1925–1940 гг. наверняка отсутствовал, но замкнутость не была обоюдной. Есть основания считать, что привлекательность Зоценко – в жанровом архетипе его кратких рассказов: анекдоте.

Имеются косвенные свидетельства того, что Карпов не просто ориентировался на опыт Зоценко, но делал это не без участия Бицилли и Волошина. «Вышел отдельной книгой юмор. роман Михаила Карпова МОРЕПЛАВАТЕЛИ, (частично печатавшийся в газ. „Голос“). Цена книги 50 лв. Можно приобрести в ред. г. „Голос Труда“» (№ 438/27, от 23 апр. 1933, с. 1). Был ли роман *юмористическим*, когда начал печататься в «Голосе», или стал им после доклада Бицилли об эмигрантской литературе, в котором он отличил Карпова на фоне эмигрантской литературы и назвал его «подлинным юмористом», «напоминающим раннего Чехова», за его первый роман «Товарищество Собакин – Безделушкина»⁸⁶, и после собрания Союза русских писателей и журналистов в Болгарии, посвященном Н. Тэффи, А. Аверченко и А. Черному⁸⁷?

Первый роман Карпова, «Товарищество Собакин – Безделушкина», начинает печататься в газ. «Молодое слово» до ее занятия партией младороссов (затем заново – в «Голосе», № 364–384) и несет подзаглавие «*авантюристический роман*» (Молодое слово, № 3, сентябрь 1931 г., с. 2).

⁸⁴ Автор словарных статей о «Молодом слове» и «Потешном» (Радостин Русев) заканчивает свои обзоры выводом о повторяющемся неуспехе утверждения литературных изданий, свободных от политики.

⁸⁵ Шаховская, Зинаида. Литературные поколения // Одна или две литературы, 52–62 (56).

⁸⁶ В[олошин], Г[леб]. Русская художественная литература в эмиграции // Голос, № 416, 23 окт. 1932, 2.

⁸⁷ Объявление в № 422, 11 дек. 1932, 1. Хроника – № 425, 1 янв. 1933, 4.

В рецензии на «Мореплавателей», вышедшей два месяца спустя указанной рекламы, роман назван *уголовным*, под тем же самообозначением печатается и в «Голосе» (№ 418–430). Привожу рецензию целиком:

«Михаил Карпов, удачно дебютировавший в прошедшем году (Т-во Собакин – Безделушкина), выпустил новую книгу. Сюжет ее, как и первой, почерпнут из эмигрантской жизни, которой почему-то зарубежная литература опасливо сторонится. Дурной признак для молодых писателей – этот уход от жизни, и хорошо, что М. Карпов не следует их примеру. Отсюда его самостоятельность и оригинальность. Правда, роман М. Карпова, в сущности говоря, жестокая сатира на эмигрантскую жизнь, но автор убеждает нас, что многое в этой жизни и в самом деле есть какая-то злая пародия на жизнь: бессмысленная кружковщина, дикое невежество молодежи, нелепые разговоры, бредовые идеи и какая-то универсальная горгуловщина. Вряд ли поэтому следует, как это делает иногда М. Карпов, каррикатурить каррикатуру. Там, где он ближе к оригиналу, к жизни, юмор его неподдельнее, смех заразительнее.

Скромная по внешности книжечка М. Карпова не должна пройти незамеченной»⁸⁸.

Мотивный анализ произведенной русскими эмигрантами в Болгарии литературы наверняка покажет, что схваченный заглавием романа мотив – один из двух-трех важнейших в ней.

Авантюрный роман, между прочим, подтрунивает над выбором писать роман из истории гражданской войны:

« – Мой роман называется „Замолчавшие пушки“ и охватывает период 1918–1921 годов. Я прочту наиболее характерные места, где особенно выпукло яснится суть трактуемой мною идеи.

Он откашлялся и начал:

„Грозные пушки, некогда наводившие страх на красных, теперь увязли в грязи, как мухи в липучке, и казались жалкими созданиями людской злобы. [...]“^{89 90}.

⁸⁸ Н. Н. «Михаил Карпов. „Мореплаватели“. Уголовный роман. София. 1933 г.» // Голос Труда, № 447/36, 24 июня 1933, 4, рубр. «Литература и жизнь».

⁸⁹ Карпов, Михаил. Товарищество Собакин – Безделушкина // Голос, № 376, 31 дек. 1931, 4 (51 собств. паг.).

⁹⁰ Объяснение появления романов Карпова в иной рамке толкования см. в: Люцканов, «Голос» // Периодика, 131–132.

Подробным исследованием рецепции Зошенко в софийской эмигрантской прессе и итогов этой рецепции мы займемся в другой работе. Тем самым мы сможем сблизить рассмотреть процесс привидной конвергенции литературы, производимой в эмиграции, и литературы, производимой в СССР, – привидной конвергенции, в перспективе становящейся конструированием двух литератур, русской и советской, путем усвоения части производимой в СССР литературы под именем «подсоветской» и отторжения от другой части, которая может именоваться просто или собственно «советской».

9. Заключение

Рецензии и статьи, опубликованные в русской эмигрантской прессе Софии в 1930-е гг., замечают существование двух литератур на русском языке. Различие между ними видится прежде и чаще всего не как географическое, а как ментальное. Различение двух литератур по признаку ментальности (выражаемого в произведении мировоззрения плюс поэтики поведения автора в жизни) тождественно разделению литературы, создаваемой в СССР, на две: на «подсоветскую» (или «доцветание» русской литературы под советской властью, по выражению 1940 г.) и на собственно «советскую». Собственно советская литература и ее создатели выступают объектами литературно-исторических и социологических анализов и характеристик, а она дается в кратчайших извлечениях либо в пересказах, долженствующих показать ее мировоззренческое и эстетическое убожество. Литература *подсоветская* активно републикуется. Присутствие на страницах русской софийской эмигрантской прессы литературы, созданной в СССР, наиболее частотно в 1926–1931 гг. Уже в 1927 г. отношения между произведениями этой литературы и произведениями литературы, производимой в эмиграции, обретают – в рамках газетного выпуска, понимаемого как сверткестовое единство, – системный характер. Формируется (либо обнаруживается; точнее, становится различимой путем анализа) пирамида типовых хронотопов и литературных к ним подходов. Наиболее заметные и, по-видимому, полярные позиции в этой иерархии занимают *изображение должного состояния бытия в лице открытой к Богу и любовно обращенной к тварному миру человечности и*

изображение *недолжного* состояния бытия в лице обезчеловечившегося советского человека. Роль реализаторов второй из названных позиций примеряется писателям, которые с точки зрения 30-х гг. войдут в категорию «подсоветских»; роль реализаторов первой – и подсоветским, и эмигрантским. Реализаторам первой позиции из числа подсоветских присваивается статус *своих*. К реализаторам второй сохраняется известная дистанция. Она выражается в том, что их произведения, за редкими исключениями, печатаются в рамках определенной газетной рубрики, т.е. каждый раз не без известного ‘предуведомления’, приглашения к ‘перекалибровке’ внимания; и в том, что наиболее яркий из авторских идиолектов, призванных демонстрировать озверение человека в советской системе, подвергается имитации со стороны писателей-эмигрантов – для изображения как советского быта, так и эмигрантского быта и бытия. Мы понимаем данную динамическую ситуацию (формирование пирамиды хронотопов / подходов, управление реализацией разными писателями разных позиций указанной пирамиды) как литературный аналог ситуации, называемой в социолингвистике диглоссией; как аналог диглоссии, (недо)обращающейся в двуязычие (путем устранения основополагающего для диглоссии отношения взаимной дополнительности). Один из нескольких самых значимых процессов в литературе, производимой русскими эмигрантами в Болгарии, оказывается процесс овладения местным писателем идиолекта наиболее яркого советского бытоописателя-юмориста. Историей этого процесса мы займемся в другой работе, но уже в состоянии дать ему общую литературно-историческую характеристику: овладение (тотальной) пародии с позиций не выставяющего себя христианского гуманизма.